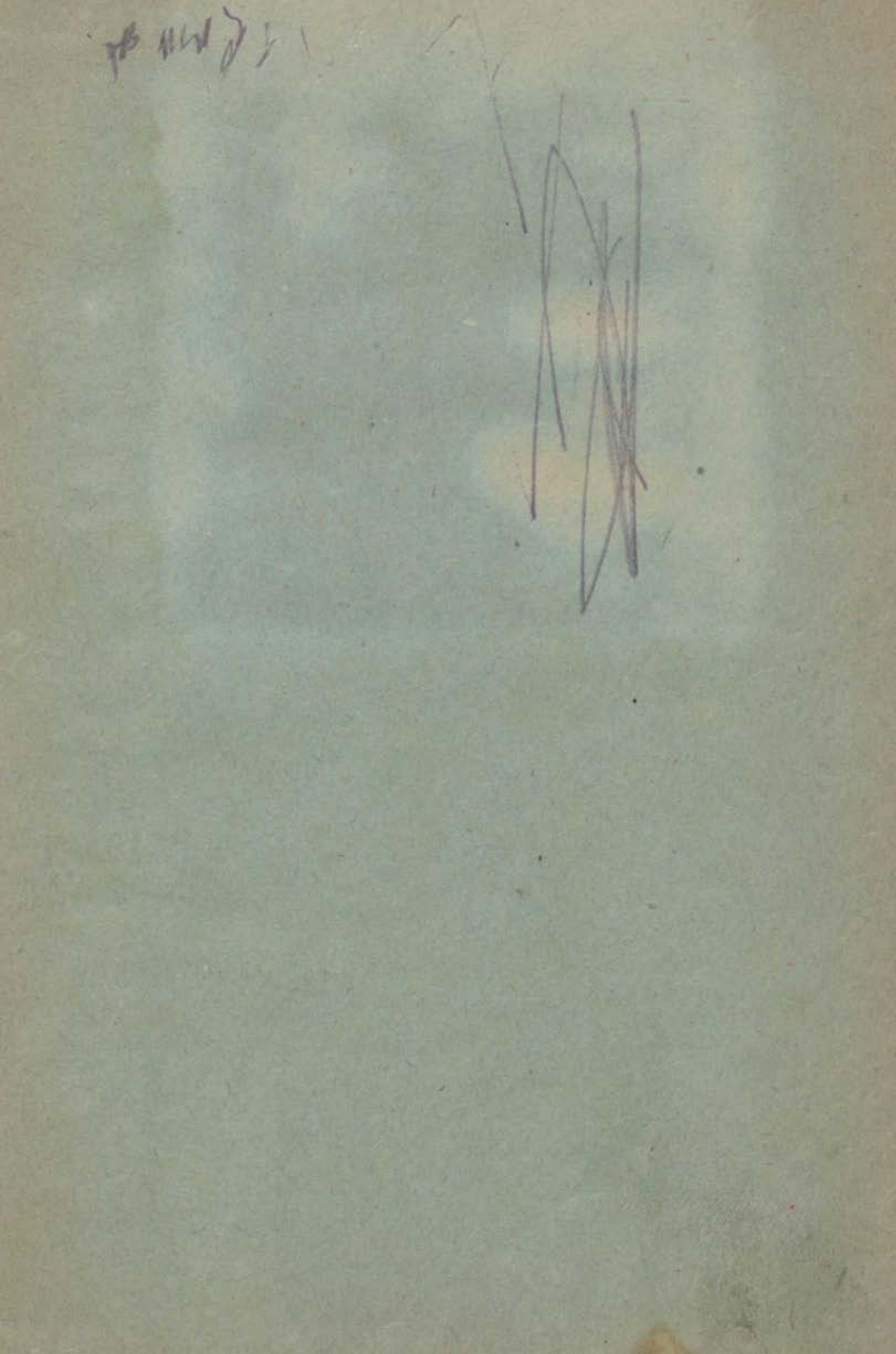
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКОВ

А 216630

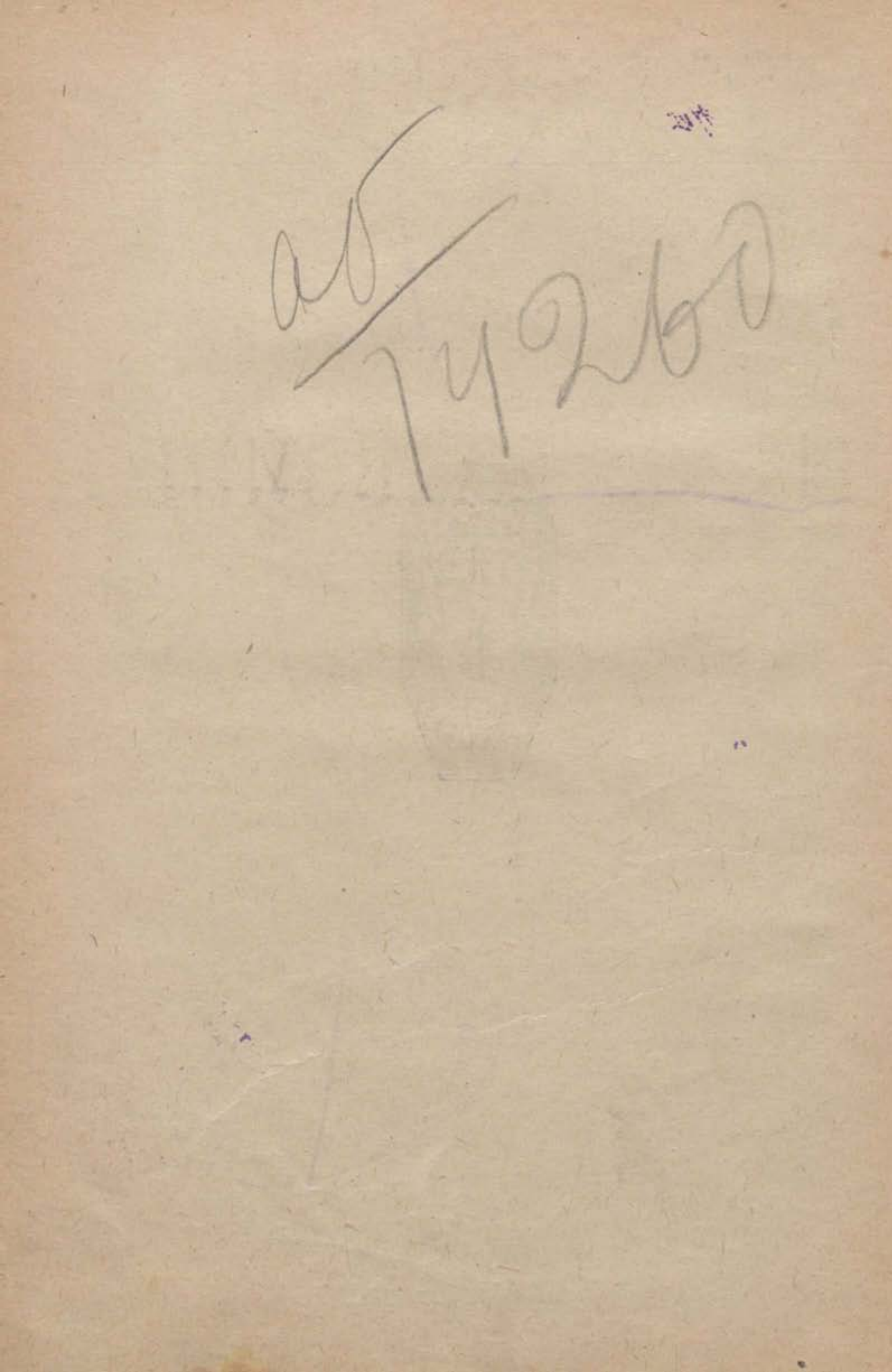
С. ФЕДОРЧЕНКО

НАРОД НА ВОЙНЕ

„НОВАЯ МОСКВА"
1 9 2 3




НОВАЯ МОСКВА
БИБЛИОТЕКА
№
МЕСТКОМА № 23 П.К.Ю.


аб
74260

а 216630

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКОВ

3
107-641

Ф.-33.

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО

НАРОД НА ВОЙНЕ

Инв. 1953 г. 216630



„НОВАЯ МОСКВА“
1923 г.



Отпечатано в 13-й тип. „Мосполиграф" „Мысль Печатника",
Петровка 17, в колич. 5.000 экз.
Марка Издательства и обложка
работы Н. Н. Вышеславцева.
Москва. Главлит № 3367.

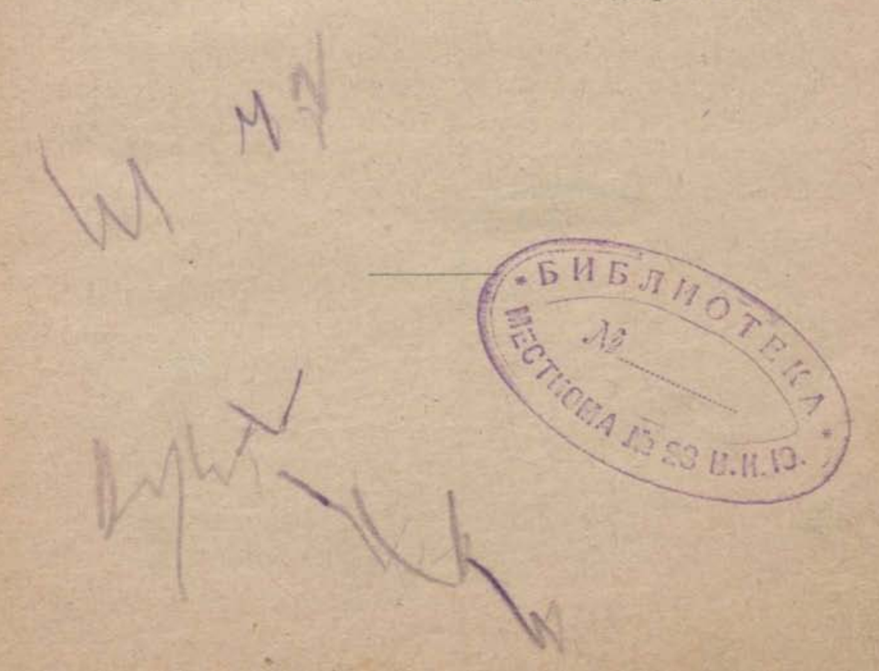
2009

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Материалы для этой книги собраны мною на фронте в 15—16 годах. В большинстве случаев это беседы солдат между собою.

Настоящее издание, сравнительно с первым (вышедшим в Киеве в 1917-ом году, и, в то время, почти не попавшим на рынок), значительно расширено и совершенно изменено в расположении материала,

С. Федорченко.



ГЛАВА ПЕРВАЯ



* *
*

Склони сердце свое к горечи,
Нечего сердцу горы меряти,
Нечего сердцу солнцу верити.
Полем-долом иди, кровью-потом гляди...
По хотению Вильгельмову,
По велению антихристову,
Понапущено войны кругом земли...
На корню хлеба война повыела,
На корню людей война повыбила...
Да спокон веков, такой не было,
Грома тяжче война, острей молоньи
Гнева божьего, война не милостивее...
Через тяжкий грех француз мается:
Через свет ходил, люд честной губил.
Англичанин—воды мутил,
Вся моря смутил, себя попустил...
А наш то мужик—землю орал;
Землю орал—Богу маливался;
Своим потом землю сдабривал,
На том поту хлеба спрашивал:
Уродись ты хлеб, сыты по весну
Прокормлю семью, всю я родину...
А чужого русскому не надобно,
За чужой за грех война зашлась,
А мужик горбом отдувается...

— Уж ты, каменье при дороженьке,
Не сбивай, не рви наши ноженьки.
Ты тяжка—высока крученька,
Не пали, не жги наши рученьки.
Уж ты, тень густа, да калинушка,
Разомни, схолоди наши спинушки.

Ты студена вода при обочинке,
Уж ты смой, сцели наши оченьки.
Куды путь ведет, серый люд идет,
А и нет пути, без пути идти,
Да не по̀ счастье, не по радости,
А по горькое горевание,
Тела белого разорвание.

Скажи грому небесному—встань гром столбом,
Скажи смерти неумольной—не коси, смерть, стой,
Скажи красной девке—не люби, млада, до седа,
Скажи войне всесветной—пойди, война, со двора.

По подлесочку по малому у-жи-жи, у-жи-жи,
По над речушкой, по над быстрою, у-жи-жи, у-жи-жи,
По над моей молодой судьбинушкой, у-жи-жи, у-жи-жи...
Уж ты пуля резвая немецкая,
Словно ласточка легка, да проходлива,
Словно ласточка та пуля поворотлива,
Что куда повернусь, на нее наторкнусь.
Я за куст лягу, за деревцо,
Как за деревцо под крутой бережок.
Уж ты деревцо мое зеленое,
И зеленое и веселое,
Припокровь деревцо долю солдатскую,
Припокровь головушку победную,
Припокровь руки-ноги рабочие,
Припокровь имячко нареченое,
Припокровь душеньку крещеную...

Эх, кого винить, кого грехом корить,
Эх, кабы знать нам то, кабы ведати,
Да не немцы то, не поганые,
Не австриец, болгарин—продана душа,
Да никто человек не винен войне.
Сама война с того света пришла,
Сама война и покончится...

— Об одном жалко солдата, что у него голова на плечах... Эх, кабы да только руки—ноги, воевал-бы беспечально, царю славу добывал.

— Вот тебе картинка: старик седой Бог-Саваоф держит землю в руке, ровно яблочко золотое. А сам поверх всего засмотрелся-загляделся, да и проглядел, что война тому яблочку, ровно червь, всю самую середку повыела...

— Что война... Купцы проторговались, а с нас шкуру дерут..

— Прогремелся Илья, не перескочить. Как почнут немцы небо колоть, ровно сухи дрова,—где старому перегреметь...

— Сидели тихонько, притаились, и там тихо. А потом крик, да стреляют. Кто почал, и не знаю. Вот и ранили. Полз долго, крови много ушло. И больше то, ни на что не решусь, ни в жизнь. Скушно как то стало, а не то что страх...

— Эх, ранят, ну больно, ну перенес, и жив... Ешь, пьешь в свою меру, с людьми говоришь, сам человек... А вот за газы, немца много надо перебить... Нет хуже газов, корчит тебя, болен так, что и души уж нет... Радости никакой, ни на часочек. Чего хуже...

— Люблю и травку, и дерево, и насекомое, и зверя, и человека... Люблю по заповеди христовой, а воюю с удовольствием... И в библии война была, Христос с воинами беседовал, не брезговал... Много людей на землю напущено, не все нужны земле. Вот война и пришла... А ты живи хорошо все время. Тогда и убить не страшно, греха нет... А и есть, так прежде праведно жил...

— Когда иду в атаку, так у меня на душе, словно во святом писании. Все светло, а ничего на земле не видно... Ведь лихое дело велят, а ты словно на небо летишь... Ни жизни не жалко, и никого не помнишь... Почитай, что самое у меня хорошее от рождения. Лучше, почитай, и не было...

— Полно, ты, врать, ни слову я насчет такой храбрости не верю. Оно, правда, кричать не стану, не к чему, не поможет

ведь. А что бы сердце играло, того нет. И не верю. А коль и бывает, так у озорников у одних...

— У нас четверо рассудку лишились на войне. Думаю, со страху больше. Один на себя виденье все ждет. Видит виденье, баб каких-то. Много, плачут, и все его ищут... Мертвый он, будто. Он кричит, что здесь мол я, а они не признают, и с молитвой по полю бродят. И плачут, а он тоскою сохнет...

— Разбило все лицо, глаз вытек, память пропала. Перевязали уж, тогда в себя пришел. Да сразу за повязку хвать, как закричу: «где глаза мои, где глаза мои»... Не пойму, кто винен, а до того ненавижу и до того темно да больно, смерти прошу...

— Вот что я удивляюсь, все каки ни есть солдатики знакомые, форгапян стыдобятся. Уж таки ерники-озорники есть, он тебе все середь улицы с удовольствием произведет,—а только положит на фортапян руку, аж краска в лице. И только что ругается похабно. Господа, те привычкой развязаны...

— Милая ты моя, вот, будешь-ли рассказывать, напишешь-ли что, не будут верить люди... Живут в далеке, и только у них и война, что плачут... А тут война другая... Тут знаешь, что умирать то не на печке придется, а на людях... Много кругом глядит, как доживаешь... А не то, что батюшка один тайну ведает... Нет, тебе здесь тысяча народу свидетели и жизни, и смерти...

— Нет хуже для войны интеллигентного солдата. Душу вымотаешь глядя, жалея... А потом так злобишься, что хуже немца зла ему хочешь... Мне тяжко, а знаешь что чего-то ему тяжче... А чего?.. Значит, жизнь жил другую, лучше понимал... А тут лбом в стену... и так жаль, а потом как над собакой ругаешься... Не барствуй...

— Ночи тяжелы. Дух у нас густой, спать—морит—хочешь, а нельзя. Разгонишься храпеть, ан бомбу проглядел. Ну, чисто как хрю разнесет... Что человек, что сопля... Бережешься, до того не спишь, что все в тебе ровно притянуто, дрожат все жилы. Так и сдается, что кровь брызнет...

— Я как в К-е в лазарете лежал, сиделочку себе приспособил. Как куда итти, ей моргну, под лестницей и сойдемся. Только поворачивайся! Вот раз я только с ей пристроился, а врач сзаду зашел, да за ухо... И отправили меня за эти нежности в военный госпиталь... Что на каторгу сослали: перевязка раз в три дни, обращенье матерное, пища собачья...

— Сидели, есть хотца. Выбрался без спросу. Округа пустая, жителей повыселили, одни собаки воют. Ни крохи. Вошел я в халупу, на печи стонет. Я поглядел, баба лежит, вся в крови, чуть жива, и младеньчик с ей. Только что родила, как мы-то вошли, и четвертые сутки без хлебу, с водою гнилою. Померла, а младеньчика жидовка взяла...

— Я на заре вышел, чтобы не жарко было. Проститься к своей любаше зашел, я себе любашку там завел... Захожу, а с ей высокая, превысокая баба сидит, и рот завязан. Сидит, молчит, а глаза строгие. Я любашу в сторонку, да ну мять. А баба как вскочит, да дверью как хлопнет,—вот мне как это не понравилось. Я за ней, а на ней брезентовые сапоги... Я ее за платок, да о земь, а на ней усы. Здоровый австрияк оказался. К жене на побывку пришел, да не во время завидывать вздумал... И меня тоже набил сильно...

— На войне что хорошо?.. Что больно свободно, и что, душа думала,—исполнить можно... Дисциплина? одно слово на глазах у начальства. Ведь только во сне видишь, что бабу каку хошь мни, и за груди хватай. А тут—только не зевай... Один грех, зевать...

— Уж попомнит меня, как я то в силу войду. Я ему все его прыщи выровняю, лучше всякой мази французской, да и прической тоже призаймусь. Так прифарфорю—сами сестрицы сбегутся, любую выбирай.

— На полке хлеб, в избе пусто. Я хлеб за пазуху, да и драть. Как заорет баба караул, как повыскочат ребята да гвалтовать, как заверезжит собаченок, ну просто аппетиту решился и хлеб бросил.

— Словно волк был, волосом зарос, скитался тощий по вражьим местам, и собаки гоняли.

—

— Ровно ребятами в зуек играли. И не веришь, что так штык то войдет, ровно в масло. А назад тащить куда хитрее. Тут вот и звереешь. Тот ревет, руками держит, чтобы не так его разорвало, что ли. А ты штыком круть-верть, вправо-влево, вверх-вниз... Пропадай, мол, все пропадом.

—

— Когда я в первый раз в бою был, точно ничего не помнил. А теперь даже во сне вижу все до точки. Очень не понутру война-то пришлась. Ну там ранят, али смерть, али калечью заделают,—не в том вся сила. Кабы мне знатье, в чем толк-то, из-за чего народы такие мирные передрались. Не иначе, как за землю. Теснота, что-ли? И того не видать.

—

— У меня шинель выдирает; я ему тихим манером по рукам штыком. Пустил. Вот крови-то... Я теперь очень даже просто кровь человеку пущу. Какое такое мне теперь, эдакому то дома дело подходящее будет,—не придумаю.

—

— А я так: иду в бой, думаю,—коли сохранит Господь жизнь во мне—значит годен я на земле. А коли быть мне убиту,—значит туда мне и дорога.

—

— Эдак-то думать, так и не страшно. А я так все думки забываю. Вот как-то, до трех считать почал. Кругом пекло чистое, а я все раз-два-три, да раз-два-три... И на носилках несли, так все считал.

—

— Вот человек был, все удивлялись. Все умел, машину какую хошь поправит бывало. На войне впервой автомобиль увидел, и на третий день уж штабную машину поправил, пришлось так. Часы там, ну что угодно. И все самоучкой. А уж душевный какой, ничьей беды не проминет. Где советом, где помощью. И такого-то первой пулей убило. А думаю, и заграницей такие надобны. А уж по нашему-то безлюдью—такого то и подавно бы беречь, да беречь. Война на миру, что пьяный на дому,—разорит.

—

Ты скажи, скажи, братишка
Коль головка хороша,
Пораскинь ка ты умишком
Хуже немец, али вша?
Как нас немец убивает,
Не по малу, разом,
А как вша нас поедает,
Что лиха зараза.
Эх, не страшен супостат,
Его не боюся,
С немцем биться я бы рад
А со вшою бьюся...

— На войне дала мне барышня одна конфетку, развернул, свою фамилию читаю,—Абрикосов... Словно кто по имени назвал, так обрадовался...

— Ведь я что хотел? Чтобы по-христиански, крови не проливать, а на войну помощь нести... Вот удача была хорошая, попал я в отряд... Вожу, вожу, и коло лошадей хожу... Вся и работа... А во мне сердце не только к тому рвется, я ведь и грамотный, и до людей жалостливый, и все почти понимаю... Надо-бы экзамен делать, кто к чему... Другому, что лошадь, что раненый, что книжка,—все едино... Только-бы жрать было... А меня на большое дело надобно. Я голодать согласен, только-бы все, что могу, доказать...

— Хорошая кобыла была, как жену любил, просто заржет, и мне охота... А налетал с утра... Ну тут с месяц, как свет, так нету покоя... Ни работать нельзя, ничего нельзя... и то нельзя... Грязь в земле развели, ровно свиньи... Налетит со светом, кружит, и бомбы бросает... И песок-то, и грязь, и гул, и жарко, чисто пекло... Лошадей позакусты. Артилерия по им жарит, а стаканы к нам в обоз. Собирали начальникам, сестер одаривали. Цветы держали, и все говорили, красиво что цветы, а она смерть причиняла... Вот и кобылке смерть причинила... Как его угораздило, только слышу, ржет кобылка, весело ржет... Думаю, что это она радуется? Да к ей... А она и глазом не ведет, мертвая... Это она как в памороке была, что хорошее и представилось...

На своем селе теперь я
Самый первый кавалер,
Мужики то все тетери,
На геройский я манер.

Я до девок не тулюсь,
Свысока их лажу,
Насмотрелся я мамзелей
Иностранных даже.

Про свою жену забыл,
Ровно неженатый,
Мне их бабьего добра
Так будто не надо.

На войне без бабы спал,
Ровно бы монашек,
А теперя ерник стал,
Хоть дочь, хоть мамашку.

Убивал я немцев много,
А врага не знаю,
По показанной дороге.
С ружьецом гуляю.

— Обмок, стяжелел, паром прошел, ровно туча стал. А как ночь пришла, морозец махонький прихватил, ног я и лишился. Нету подо мною ног; гудут, а служить не служат. Разулся, глянул, а они ровно радуга. Обмерзли, калека я теперь...

Как надел я амуницию
И пошел я на позицию,
На родных теперь начхать.
Мне война, что родна мать,
Наплевать мне и на женку,
Сколько хочешь есть девченок.
Коль добром меня не схочет,
Под всей ротой похлопочет.
Пусть хозяйство пропадет,
Пущай бабы работают,
Да на что ты мне, мамаша,
Полно брюхо хлеба-каши...

— А слышим, стонут, просятся чего-то, Грязовецкие, спрашивают. Мы говорить-то не можем, не велено, и ничего понять не можем. А лес кругом, не видно... Тут месяц повыкатился, ан это калеки-раненые, кругом ползут и пособить просят... На коня не возьмешь...

— С носилками, смотрю, наш Александр Иваныч. Вот это такой человек был, что мы на него, как на Бога надеялись. Это он, чтобы меня разыскать, пришел. Ногу мою как подвязывали, он ее за пятку держал. А потом кричит: «Мойша, ты здесь»?..—«Здесь» отвечает...—«Вот» говорит, «видишь, за тобой нарочно пришел, что-бы ты не подумал, что тебя бросили. Ты не горюй очень-то»... Это ему что русский, что жид, все едино. Жида жалел, и нас учил. .. И такого-то офицера просто мы-же и продали... Не осилили отбить... А звал как нас... Я то уж второй раз раненый, ни одной ноги тогда целой не было, а ползком не поспел... Увели уж его...

Все мы здесь на одного хозяина работнички. Своего ничего нет, на чужой земле разоренной, топчемся непрошеные.

За рекою лес, видать, очень красивый, да густой, да ровный, под самое небо головами. А в лесу том окопы по земле черной гадюкой вьются, и за каждым кустиком враг. Вот те и красота.

— Что поднялось!—ровно суд страшный... Нельзя не покориться, а и покориться,—душа не терпит... Нету рассудку ни краюшка... Теперь помнится, а то, гром тяжкий, снаряды ревмя ревут, рвутся у нас, раненые вопят... И целые-то волчьим воем воют, от смертного страху... Нету того страха страшнее... Куда итти?... Не идешь, в кучу сбились... Молоденькие криком вопят, по-зверьи... Взял он револьвер да ко мне: «вылезай»... Я назад наширяю, земляков куча... Я карабкаться, а он в меня выстрелил чего-то... Не попал, только все шарахнулись и в атаку полезли.

Столь Вильгельма ненавижу,
И зарежу коль увижу.
А Вильгельмову супругу
Я по... да подпругой,

А Вильгельмова сынка
Раздеру я до пупка,
А Вильгельмову сестру
Под себя давно вострю,
А Вильгельмовых-то дочек
Раздеру до самых почек.
Как я крест с него сдеру,
Крестом ... отдеру...
Коли двери на запоре,
Не велико это горе,
Мы казаки ровно звери,
Лезем в окна, словно в двери...
Ничего-то мне не надо,
Битва вот моя отрада,
Пропадай ты все пропадом,
Мне Георгий есть награда...

Как турецкий то султан
Взял у немца синь кафтан.
Скинул феску, шаровары,
Пошли с немцем тары-бары.
Дай нам злата миллион,
И бери нас всех в полон.
Будем мы с тобой в союзе,
Только-б сыто было в пузе.
А Макензин капитан
Плохо турок пропитал.
Как у турка вспухло брюхо,
И пошла у них разруха.
Ты зачем, немецкий стерва,
Нам даешь гнилы консервы?
Хлеба дал, что кот наплакал,
Так садись ты задом на кол.
Сел немчуга на колу,
Свесил ножки до полу.
Он не долго посидел,
За ним дьявол прилетел.
Взял Макензина за ворот,
Потащил в пекельный город.
А уж там сидит давно,
Все немецкое г...

Гинденбург, обнявшись с Вилькой,
На одной торчат на вилке,
Подцепили кронпринца,
За обои за...
Франц Иосиф старичек
Зацепился за крючек.
Фердинанда-же собаку,
Закопали носом в с...
Вокруг немцев бесы скачут,
Немцев матерно собачат.
Будешь немец век терпеть,
Заслужил, м... т...

— Нет мне злее, как без хлеба. Брюхо наше с измальства к хлебушку приучено. Мужичонку и в колыске одно дело, что мамка, что хлеба жамка. А здесь, как нас на мамалыгу эту перевели, так больше всего понял, что война нутро повыела. Только как паек дополнили, осмелел я немца думкой осиливать...

— Что мне делать с собой, не знаю... Сперва я спокойно воевал. Плохо жилось, я не сетовал, все за жизнь считал... А жизнь, горем—что полем... А теперь понятие утерял, не верю, что на свете живу... Словно сон по блинам, словно порча напущена... И найти себя не могу... Думаю к батюшке за советом сходить, авось отмолюсь...

— Исстрадался я очень. Как принесли меня, раздели до чиста, на стол положили, и стали вежливенько коло раны мыть, свету не взвидел, лучше-бы на поле сдох... А кричать совещусь до того, скорее память потеряю, а не крикну, так чего-то совестно... Тут надели мне намордник и считать приказали. До десяти насчитал, а в ушах, словно фортапьяны играют. На одиннадцатом, как в воду ухнул, на тот свет... Прокинулся, кроме что боли страшусь, ничего в уме не имею... А как опомнился, ан они меня на целый на аршин окарнали... Изукрасили...

За мои грехи-убийства
Начальство ответит,
Что умру, что отличуся,
Всё крестом отметит.

216930

Коль убьют, так крест сосновый,
Коль убью—Георгий,
Хоть мальчишка я толковый,
Пьяница я горький.

— Спросился я, разрешил. Снаряжаюсь, главное, стараюсь, как бы ноги потеплее упрятать. Пошел я к вечеру, сперва и шел за горкой, потом темени досидел, и ползти почал. Очень я хорошо знаю, где он лежать должен. Вот как бы то место пошло, а нету никого, снег кругом. Занапрасно, думаю, труд принял, не знайти товарища. Стал было поворачивать, а и задел ногой, человек. Снег сбил, ан—это он самый. Ровно вдвое стяжелел, не снесть. Веревку поддел, и поползли назад двое. Безо всякого почтения поволок,—пришлося...

Как веселье на войне
Только в бабе да в вине.
Как геройски мы возьмем,
Будь хоть ночью, будь хоть днем,
Все затулинки обыщем,
А вина да пива сыщем.
Всяку душеньку увидим.
И старушки не обидим.
Если б бабы не видать,
Плохо стали б воевать,
Коль без бабы, без вина,
Так какая то война...

— Ничего не видно, а слышу, дышет ктой-то. Спрашиваю, кто такой, стрелять, мол, буду... Молчит. Стал было я думать, да некогда. Я и выстрелил...

— Повели меж собой, берег крутенький, тропа узкая, да склизкая. А он изловчился, Петряю буца в пузо; тот в ручеек и ухнул. Меня ногою пнул, да бежать. Опомнился я, стрелять хочу, а тут Петряй вопит. Вода то холодная, да быстрая. Верно с... с... расчитал. Русской скорее сто немцев спустит, а уж товарища в беде не кинет...

Нам как дома письма пишут,
Только кланяются.
Не про что ты не услышишь,
Только смаешься.

На десятом на поклоне,
Мол, сгорела хата,
С австрияком женка спит
Да ходит брюхата...

Привычка великое дело. Я теперь хорошо привык,—ни своего, ни чужого страху больше не чую. Вот еще только детей не убивывал. Однако думаю, что и к тому привыкнуть можно.

— Я стою, ровно ничего не вижу. Смелее так-то. И он поослаб, ружье тихонько опустил, да по опушке и пробирается, будто и не думал про меня. Глаз много силы имеет. Кабы глянул я в те поры на него, быть бы мне на том свете.

— Как сбили нас кучей, что больной, что здоровый, стоим— словно прутья в метле. Некуда податься. За мной солдат большуший дергается что-то. Я ему—земляк, земляк, а он мутным глазом поглядел, да на меня, как навалится, помер. Вот так шабер...

— Я повылез, слышу дышет, как на бабе... Я повылез подальше, та кажу тихонько:—что ты тут с. с., а он—хр... хрипит... Я боюсь—кричу, а он боится, хрипит. Я к нему лезу, а он ко мне... Доползли, а кровь из ноги горячая, сам я холодный... Рукою его за шею, щуплый... Ищу, может где близко ранен... Верно, пальцами в грудь залез... Он чисто как свинья зарезанная орет... Я его за горло давлю, тоже мокро, а все, что-бы горше, по грудь рву... Замер, как заснул, а я на нем... До утра. Утром рано, саднит нога—чисто смерть, а голова чисто водою налита, гудит... Не вижу, не слышу, как подобрали—не помню... И что это, братцы, чи я того проклятого удушил, чи он сам по себе помер?.. Рассуждаю, что не грех, а больше по болезни—слабости снится...

Уж как шел я на войну,
Поминал родителей,

А теперь родители
Всю кровушку выпили.

Кабы все-то воевали,
Немчуры б не стало,
— А то братья да батюшки
Жрут все до отвала.

Мы воюем, а тыл жрет,
Ни стыда, ни славушки,
Оттого и немец прет
До самой Варшавушки.

Хороша наша деревня,
Только славушка худа,
Здесь до смерти солдат воин
А деревня без стыда.

Попабрался во траншеях
Ужасу да горя я,
Не хочу чинов да денег,
А хочу Егория.

— Что я тебе скажу, уж и рад я, что меня изранили... Вот полежу, в Россию сестра обещала хлопотать, к жене, ребятам... Трое... Работничать не буду, а около хозяйства и на одной доскачусь, все лучше бабы...

— Раз, зажарил, рраз еще,—я маленько испугался, а не верю, что в меня. Копаю, рою, команды не слышу. Потом рраз, шарахнуло рядышком. Меня как кто за шиворот взял, над землею поднял, да оземь шварк... Подняли, синий, как удавленник. Контузия. Ни рук, ни ног не соберу, весь дрожу дрожмя, а в ушах—что под водой.

Был я юноша не слезный,
А теперя стал сурьезный,
Шуток больше не шучу,
Все зубами я стучу.
Застучит тут всяк зубами,
Как засыпит враг бомбами.
И дымит-то и гремит,
И по людям страх стремит...

— Я не могу сказать, что это страшно... Когда ранили, весь свет позабыл, лежу, кричу, стыда нет... И не то что очень больно, а мысли такие, что ты на всем свете один теперь, и все значит можно... Лежу, кричу, а потом «мама» зову... Вот и все... Тут подобрали, рана легкая оказалась...

— Сорвался я с пригорбка, сажени две пролетел, и мешком о земь. Свету не взвидел, кость во мне покрошилась и наружу полезла. Рвет мясо живое, ровно я на зубы попал. И кровь то не льется, а таково тихо проступает, огнем да мукою путь свой торит...

— Смотрю изба, оттуда шум. Земляки австрийцев палить пристроились, а те, злыдни нечистые, бабу горемычную, да ребяток ейных двое в окно кажут. Не стерпело сердце, подскочил, бабу с младенчиком в окно выдрал, за другим стал рукою шарить, а они мне за шкуру и залили, разрывную. Уж без меня сожгли-то их, обеспамятел. Жалко до смерти...

— Эх, до чего плохо было. Как первая повозка дошла, слез Семен Иваныч, бабе говорит: «собирайся, детей собирай и вещи что понужнее, выселяют вас»... Баба о земь, голосит, сапоги целует. Народ собрался, услышали, по селу, словно гром, плач такой. Сразу все говорят и плачут все. Кто головой бьется, кто волосы рвет, а старуха одна телку вывела, за шею обняла, голосом воет, и собаки с ей тоже душу рвут... Ну, стали потом силом сажать, — не уговорить. Так босые все, а дождь да грязь, и холодно... До чего плохо было, самое трудное...

— Легли мы, ровно на пружинах. Слава Господу лежа то было. А как встали, затянуло в трясину двоих. Сам слышал, как Иванова кобылка на той трясине гублась. Стонет, ровно мычит тихонько, и слыхать было, как кости с натуги хрустели, не вызволились...

— Скачет козочка, страх в ней играет, над землей несет легче ветру. Он за ней в лес вошел, споткнулся об груду какую-то, упал, встать не в силах... Немец раненый лежит, и его за груди держит, не пускает... Сопут, борются... Грызть стал немцу руки, пустил проклятый, только глазами смерти кличет...

Винтовку приложил, пальнул, а у того глаза на лоб... А коза ушла, гнаться не стал. Об немца последний заряд разрядил... Обидно охотнику...

— Сидим над водою, покуриваем. Вот по речке, что-то до нас прибивается... А темно довольно, разглядеть никак нельзя. Я говорю: «Вася, а не враг-ли какой?»... Вскочили, однако тихо, а груда черная у берега на волне колышется, поплескивает. Я осмелел, лег, рукою достал. Слышу, ровно-бы шерсть какая... Руку отдернул, «пес верно», говорю... Спичку зажгли, глядим,—Евграф.... Господи, голова разбита, весь кровью, да водою прошел... Вытащили, закопали тут же, помолились малость, и пошли... Вот, розыскал земляков...

— Здесь у меня друзья-товарищи завелись, Дома не бывало. Баба да ребятки. Сердцем за них болеешь, а говорить нечего.. А тут я умнеть стал, человека понимать выучился, и на подвиг пойти готов. Брюхо больно дома тягчит жизнь нашу...

— Такая от друга радость, да веселье. Гнешь, бывало, на работе спину, жилы из себя тянешь, а как вспомнишь,—вот вечерок-то с товарищем степлю,—и так-то ладно станет, никакая каторга не отягчит.

— Да, был и у меня дружок, Саватьев, постарше меня малость, да и поумнее, будто. Любил я его, как душу свою, али больше. И стал он на литейном своем деле кровью заливаться, кашлять. На глазах стаял. Схоронил я его—решился просто Радости всякой. Года два от улыбки мне больно было, а смеяться так и по сие время не очень наловчился.

— И все-то чудо от хороших товарищей. Запер староста приятеля за яблочки в каталажку. Я ему гриб в окно. Он сейчас тот гриб разломил, ножик из гриба вынул, замок сковырнул, да и драла. А кабы не чудесный гриб, сидел бы он трое суток.

— Ах, и весело мы тогда жили. Было нас в артели двенадцать молодых ребят. И так-то мы дружили, до того все у нас вместе было, и труды и забавы,—что в каждом за двенадцатеро душа выростала.

— Господи, до чего я теперь веселых люблю! Все такому отдать бы рад последнее. Уж больно в лихолетье младость тратим... Тут только веселый товарищ и подкрепит, ровно винцо...

— Это ты верно, что до шкуры, так тут душа не причем. У меня, вон, шкура-то часами без души гуляет, как в атаку итти. Оттого я и храбрый такой.

— Он ко мне, и заместо, чтобы рану искать, давай по карманам шарить. В мороках был, а тут что отлили, злоблюсь, кричать наровлю, а он за глотку... Как шарахну его: сукин ты сын, кричу, а не санитар. Ты мне рану вяжи, а кошель-то я и без тебя завязать сумею...

— Чего ржете жеребцами? Сами над собой ржете. Кажному, вон, своя рожа, ровно капусты качан. Бей да руби, только скуснее, сок мол пустит. А то забыли, что по божьему подобию сотворены?.. Пес, и тот каку гордость, а имеет. Тоже люди, каждого допускают, эх вы...

— Горе тебе, Вильгельму, лихо тебе, злодею, и мертвые под землею покою не нажили; покою не будет—покуда Вильгельм жив будет...

— Солнышко глянуло—затмилось, звездочки глянули—закатились, месяц посмотрел—на один глаз окривел; у Вильгельма, и у того одна рука отсохла... А русскому солдату—все ни почем: не больно его дома балуют. В голоду да холоду, ровно в божьем во саду... Ему еще с полчаса терпенья хватит...

— Война, война! Пришла ты для кого и по чаяньи, а для кого и нечаянно. Неготовыми застала. Ни души, ни тела не пристроили, а просто на посмех всем странам, погнали силу сермяжную, а раз'яснить—не раз'яснили. Жили, мол, плохо, не баловались, так и помереть могут не задля ча. На немца-то, да с соломинкой!..

— Очень интересно по вечерам было, до сна. Еще говорили промеж себя до запрету. Чего-чего не переберем, с Бога нач-

нешь, а бабой кончишь... А дома не с кем слова перемолвить. Наработался, лег, и на тот свет. Не с женой-же рассуждать...

—·—

— Господи, вот я теперь до чего чувствую, как военное свое дело справляю... Наведешь, дума такая, вот-бы побольше наделать для русских хорошего... Десятка-бы перебил...

———

— А на войну шофёром взяли. До машины сызмальства был доходчив, а в Бельгии, до автомобилей, во как навострился... Как подвез своего до немца, а с боку кавалеры в касках, да на них, да рубить... А Григорий, ей-богу не вру, который раненый, втащил рукою за ворот, да под ноги себе шварк, да топтать, да топтать, пока не подох... А подох, уж как к себе вернулся со своим-то... Я его сустревши, спрашиваю, как рассказал «чтож ты демократ, а с... с... выходишь, а не демократ... Разве-ж тебе то в Бельгии говорили, что немец не человек, что ты его хуже крысы замучил?» Так драться полез со стыда...

———

— А тут сразу нас под ихние пулеметы угораздило. Совсем не похоже, как я-то боялся... Страху нет, отчаянности столько, просто до греха... Как вышел, так-бы скрозь землю провалился... И туды голову и сюды голову, хоть в ... засунь голову, а не уйти... Как лежишь до атаки-то, так все думаешь, как-бы убегти... А вышел, орать до того нужно, кишки сорвешь... Ну уж тут пусть немец не подвертывается... Семь смертей ему наделаю, а взять не позволю... Вот тебе и убег... Все другое ..

———

Гудит колокол соборный
На чужой на стороне.
А мальчишечка проворный,
Пишет к милой ко жене.

Пишет он цыдулю
Про вражую пулю,
И про пулю и про штык,
Про немецкий про язык...

Уж как пуля грудьми ходит,
А штыки по брюхам,
А язык ихний немецкий
Не раскусишь ухом...

Я домой-то как вернуся
Я не буду работать,
Мне довольно молодому
Год который пропадать...

Коль военные вернутся,
Им работа не нужна,
Пускай штатский работает,
Он не видел ни рожна.

А воин все видел,
Врага ненавидел,
Давай воину покой,
Не то будет разбой.

Про тот снаряд слова нужны по порядку
С тиха гремит, стрелой катит.
А подкатится, громом грянется,
Душа с телом и растанется...

— Лежу я и вижу—каска. Я за ней тянусь, ан и правая рука не целая, саднит. Однако, дотянул. Тут санитары надошли, говорят, нечего каску брать. Так я в слезы, ей-богу! Вот смеху-то...

— Он в глаза не глядит, а так неспешно идет. Вижу, сейчас будет меня на смерть убивать. И что делать-то. Коли не он меня, так и у меня ружье на взводе. Тут уж кто кого. Я и выстрелил. Он еще шагов сколько-то на меня, и в землю.

— Вот ты это так говоришь, потому что глаз его не видел. Кабы в предсмертные-то глаза глянул—ночью-бы чудилось. Я эдак-то, почитай, с полгода как чумной ходил: как глаза на сон заведу, так мой убиенный в глазу, да смотрит.

Чему дома научился,
На войне все позабыл,
А военную науку
Из-под палки проходил.

Меня мама, как носила,
Напугалася,
Был сыночек я исправный,
Да избаловался.

Не кутил, не выпивал,
С бабьем не водился,
Карты вовсе я не знал,
Матюшить стыдился.

А проклятая война
До греха добила,
Насмотрелся я....
Так с пути и сбился.

Посмотри теперь, мамаша,
Своего сыночка,
На башке нема волосьев,
В роте ни зубочка.

От гнилой болезни сохну,
Ото вшей деруся,
От проклятого окопа
Со страху....

А кругом глядит начальство,
Дерет да ругает,
А каков я был мальчишка,
Так никто не знает.

— А потом начальство жидов к нам предоставило. Ну и смеху было... Который ревет белугой, который, как пришел, так лег, словно мертвый, сам белый, только уши торчат... А который подошлее, так все до господ офицеров лезет, все шепчется... Да уж тут, шепчи не шепчи, а со всеми действуй... В земле сидели, ничего... А как вошли мы в***, зашли в дом со Степой Ковалевым, и всякого добра много увидали... Не знаем, что до чего... И такие, и эдакие предметы, хорошо живут враги... Расстелили мы одеяло, и класть стали, что кому, потом разберем...

... И по совести скажу, не грех... Все равно, не мы, так другие, хозяев нету. Нет хуже, как дом бросать, а и остаться

не сладко... Особливо бабе... Господи, как увидишь бабу, чисто жеребцом ржешь... Тут плачь не плачь, а только поворачивайся. Как укладали мы в одеяло, жидок наш пришел. «Ребята, говорит, нельзя так». А мы молчим... Он еще лопотать, а мы молчки свое... Он осерчал, в крик, ротный зашел. Ему смешно. а нельзя, обязан запретить. Сам хохочет, а вещи бросить велит... Ну, и было жиду, и от нас, и от ротного... В лазарет ушел...

— Взял я штык, осмотрелся, вырыл ямку штыком, и запрятал. На другой день доставать стал—нету. Фу ты, чего такое: у вора вор—дубинку упер. Вынул кто-то... Слава тебе Господи, греха за мной нету, ни грошика не прожил...

— Я глаза прикрыл, тем и оборонился. А то быть бы мне до смерти без солнечной радости, без звездных утех.

— Никто не согласен дальше воевать, разве что сумасшедший... Вон Ванятка хочет воевать... Так он себе карман набил, белья прикопил, баб в каждой деревне ласкает, Георгия за рану имеет... Таким бастрюкам счастье... Почти и не люди, а как сумасшедшие...

— Что здесь плохо—многие из нашего брата, нижнего чина, сон теряют. Только глаза заведешь, ровно лавку из под тебя выдернут, летишь куда-то. Так в ночь-то раз десять кричишь, да прокидываешься. Разве ж такой сон в отдых; мука одна. Это от войны поделалось, с испугов разных...

— Чудно мне здесь перед сном бывает, как устану. Ровно не в себе я. Ищу и ищу я слово какое ни на есть, нежное только. Ну, там, цветик, али зорюшка, либо что другое, поласковее. Сяду на шинель, да сам себе раз десять и протвержу то слово. Тут мне, ровно кто приголубит, сделается и засну тогда...

— Красть—очень даже не хорошо, и грех и расплата. Да только на войне по иному, все чужое да легкое, какой тут грех. А уж расплаты-то хуже смерти не будет, а мы сюда на смерть и пригнаны. Вот и не плошай.

...ЛИОТЕКА
№
...№ 23 Н.К.Ю.

— Стой, помолчи, огненного слова послушай. Небо теперь говорит, да преисподняя. Человечья речь притаилася. Чья дума выдумала пушки, да ероплапы—не ведаю. Одно ведаю, большой покос смертушке уготовали. Придет конец войне, не быть смерти на земле. А и будет, так тиха, скромна. Отвалится смерть, ровно пиявица сытая...

С маленьких мальцов попал я в конюшню присматривать. Дядя мой там кучеровал. И били меня лошади, почитай, ежедневно. Не любили они духу моего, и я их боялся. И на войне тоже до лошадей приставили. И не знаю вот, либо дух из меня война повыбила, либо лошади здесь уж больно ласке рады, только не бьют они меня больше, и просто на пустую ладонь идут.

— Закричал я благим матом, пополз. Ползу и чую, теряю я ногу свою и с сапогом совсем. Кровища из меня хлещет, а с кровью и дух вон. Как подобрали, не помню.

Уж как Петька крадет редьку,
А Матрешка латучек,
А казак залез к соседке
Да в кованый сундучек.

Уж как Петька в каталажке,
А Матрешка в б....ке,
Все сотенные бумажки
В том кованном сундуке.

Уж как Петьке рожу били,
А Матрешке толстый зад,
А казак в автомобиле,
Не воротится назад.

Уж как Петька ревет-плачет,
А Матрешку с души рвет,
На войне казак наш скачет
На врага свого вперед.

Уж как Петьку засудили,
А Матрешку в лазарет,
Казачища наградили,
Все герою незапрет.

— Я как стал середь войны жить, так и стала мне война,—что дом мой, а солдаты уж таки товарищи—при самой смерти вместе. Дома-то один я, хоть и семья кругом.

— Я то не боюсь, а, конечно, хорошего мало—каждый час либо смерти, либо муки ожидать.

— Слабеешь от походу этого, от ходьбы целодневной. До того смаешься—сам себе не человек. Ляжешь, где пришлось, хоть в навоз головой,—гудут ноги трубою, будто слыхать даже.

— А то еще в 13-ом, на Фоминой, пришел к нам дед из Питера. По многим местам ходил хожалым, бывалый мужик. Тот за верное принес, что затевают наши министры войну с немцем, и что нужно де ту войну провоеваться,—что-бы понял народ, какой он ни до чего не годный, и никаких себе глупостей не просил-бы... Так оно и вышло. При всей при Европе, на голой па ...

Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска.
Куды глазом ни гляну,
Только видно, что войну!
Оглушилось мое ухо,
От военного от духа,
Поустала и рука,
От железного штыка.
Оттоптались мои ноги,
От военной от дороги.

Есть и книжка, и бумажка,
Есть чернила и перо,
Да грамоте не учили,
Пропадай мое добро...
За плечами сума сера,
На башке фуражка,
За лесами деревенька,
Там моя милашка...
Горько плачет моя мила,
На войну проворит,

Доберуся ей до рыла,
Так не будет спорить...

— Через всю землю война пораскинулась... Одна от нее дорога—на тот свет... Кабы знатье, какое там житье,—давно-бы ушел...

— Ночью топот, глядим, под палатку чей-то конек прибился, пофыркивает. Мы его за холку, да в узду, Мадьяром крестили. И такой хороший Мадьяр был, сразу по-русски выучился.

— Вьюга, как у нас на деревне, зги не видать, бьет и рвет. А тут слышно, не все ветер, ревет тяжелая, влетит за ветром смертью, свернет-скорежит все вокруг, с тряпьем с дубьем в землю вобьет, вкрутит, глубже речного дна. И опять ветер и тяжелое ревет.

— Раз мне так пришлось, что в бою зубы мои страшною болью разболелись, так верите ли, ничего я в том бою, кроме зубной боли не прочухал. Видно—либо боль, либо бой, человека на два горя не хватает.

— Долго-ли я лежал, не знаю. Звезды, идти надо, я ползком на горку выбираюсь. За горою, знаю, немцы. Ракеты все слева, и то рад. Ползу, слышу разговор ихний. Смотреть—ничего не видать. Только совсем близко огонь всполохнул. Здоровый немец машинку разжег, кофий варит... А дух, господи... Думаю, коли-б этого, вот хорошо-бы... Слюны полон рот... Я ползу, а он сидит, ждет кофию, на огонь засмотрелся...—Смотри, смотри.. Сзаду навалился, душить скоренько. Молча сдох, с испугу видно... Я за кофий, пью, жгусь-тороплюсь... Выпил, машинку да каску с собой унес...

— Лекарство стал принимать, доктор ругается: «не работай, да не работай, а то совсем кишки вылезут»... Вот лес возил, и вывалились кишки... А на войну годен оказался... Здесь все легко, коли страх подымаешь.

— Подобрал я его сам, на шинелишку австрийскую положил, да за рукава в околодок тащу. На руках не осилить, он

противу меня, что слон был... Стонет он, и слова говорит. Я скрозь горя не слышу хорошо-то, а оглянуться на него—жаль до смерти... Кровища из него рекой шла... Мертвым дотащил...

— Присказка военная не такая, как прежде... Прежде, тяготу несешь—жизнью идешь, а теперь, труд да забота—все на смерть работа...

— Ускакал он, кричит—с немцем вернусь. Точно, приволок он немца, до того избитого, просто, как мешок, через седло то болтался. И такой разговорчивый немец оказался, лопочет бесперечь, и спрашивать не надо. Только самим-то понять не по силе было, а пока начальство до нашей до халупы пришло, он уж и помер...

— Когда первый раз сюда пришли, не хорошо обитатель нас держали. В уме своем еще не поняли того, что русские сильнее, не додумались. Я на постое тихо-мирно у семейства жил и все старательно исполнял, чтобы никого не обидеть. И воду им таскал, и ребят нянчил. Однако, волками смотрят... А второй раз так просто смеются в глаза. Да и я уж не такой стал... С дочкой старшей любовь силком закрутил... Муж-то ее на войне, сама красивая... И очень меня потом ласкала охотно, я тогда здоровый был... Постоял, насмутьянил, детей до крови выпорол и уехал... А в третий, так ноги лижут... Знает кошка, чье сало с'ела... Ну, да я их теперь, прямо таки, презираю...

— Спроси ты меня, мог ли бы я без глаз жить, и не знаю. Вот, все жду, что зрячим стану. Светится мне теперь солнышко, мрежит, ровно в щелку. А прежде то ничего не видел, и были мне глаза, только для слез надобны. Круглые сутки плакал, смерти просил...

Нас вон долго не учили,
А в чугунку усадили
И погнали на войну,
Во чужую во страну.
На спине моей котомка
И ружьишко на руке,
Ты прощай моя сторонка
И деревня при реке,

И деревня и садок,
И пашенька, и лужок,
И коровушка Красуля,
И зазнобушка Акуля.
Здесь австриец кашу варит,
По окопам бомбой жарит.
Здеся свету не видать.
На себя не работать.

— Мы ничего не боимся, как стреляют, думать некогда, и не ранили ни разу. А и убьют, все равно умирать, что там, что здесь, все едино... Молодому-то еще и лучше, худа мало наделал. А старый ни себе, ни людям...

Как в атаку мы пойдем,
Там Георгия знайдем.
Я с окопа выскочил,
Да раненье получил.
Так мне немец засветил,
Я Георгия забыл...

Я гимназию не кончил,
Да в окопы прямо скочил,
И попал в ниверситет,
На геройский факультет...

— Пошел я, стыдно мне, знаю, что к своим за тем не пойти бы. Зашел, и девка та сидит. Глядит льстиво, знает зачем. Я и вижу, что гулящая, да не мое солдатское это дело по начальству бабу водить. Постоял, посмотрел, помолчал, да и ушел. А он мне за то опосля много гадил...

Не обрался я беды,
Как попал я вот сюды,
Не пришелся я по нраву,
Никогда не буду правый.
Нету хуже взводного,
Для кого невгодного,
Все ругается да бьет,
Да со свету сживет.

По окопу немец шкварит,
По сусалам взводный жарит,
Не житье, а чисто ад,
Я домой удрать бы рад.
А домой не удерешь,
Дезертиром пропадешь.
Буду жить да утешаться,
Да геройства набираться,
Как Егорья получу,
Так никто не по плечу...

— Я прошел вперед, не заметил, как отделился... Подходит немец, да вот так и подходит, мерным шагом... А я и забыл, что бить нужно, встал, жду... Очень важно идет... Подошел, взял меня за грудь и на себя зачем-то тянет... Оба мы одурели... Тут я, как почуял железо на его груди, холодное что-то, так первый в себя пришел, и кулаками его обоими промеж глаз. Он сел, а я тогда винтовку поднял, да его прикладом, по тому-же месту... Лица не видно, что крови... А что делать дальше, не знаю. Вот не знаю, что делать, коль ребят своих кругом нет. Не стоять-же коло него?.. Каску с него подобрал, свалилась, да назад... Свою часть уж не нашел. Вот тебе и подвиг...

— Что вернусь—долго дома не заживусь, на каторгу живо угожу... Женка пишет, купец наш до того обижает, просто жить невозможно. Я так решил: мы за себя не заступники были, с нами, бывало, что хошь, то и делай. А теперь повыучились. Я каждый день под смертью хожу, да что-бы моей бабе крупы не дали, да на грех... Коль теперь попустить будет, опять на войну, что отару, погонят... Нет, я так решил, вернусь, и нож Онуфрию в брюхо... Выучены, не страшно... Думаю, что и казнить не станут, а и станут, так всех устанут...

Сушил, сушил я портянки, да не высушил,
Сидел, сидел я в окопе, да не выскочил.
Как Егорья захочу,
Из окопа заскачу,
А Егорий не дается,
Над моей бедой смеется...

— Чем я его перевяжу, нет ничего... Я с себя сорочку срывать стал. Только спину заголил, да через голову тащу, как хватит меня по голому-то заду... Чисто пороть задумали. Ну, уж туту я скоренько его завязал, да с им в околодок и пошел... Вот жгло зад-то, не заголяйся на людях...

Я опять до него приступаю, отдай да отдай. Не дает и в глаза смеется, я мол, сильнее. Не избить, не отнять... Что день, у нас драка, начальство наблюдать стало, особенно меня, что я за им, как тень ходил... На что ему кольцо, а мне ровно душу вынули... Целехонькую ночь снится, дни прежние все время в голове. Жить стало не в моготу... Говорю, утеку и муку приму... Утек, поймали, и наказали примерно, ни сесть, ни лечь... Тогда отдал...

— Брата убили, а я не знал. Дошел до части, спрашиваю,— убили... Я пошел искать, сказывают, в братской. Я крест сделал, стихи сочинил:

Спи, мой брат старшой,
Здесь я брат твой меньшой.
От отца и селян
Я с поклоном послан.
Лег в чужем ты краю,
А проснешься в раю...

— Он нам строго приказывал, как увидим бутылку с чем нинаесть, не брать... А уж пить, ни боже сохрани... Смотрю, на ходу Осташков зеленую бутылку с земли, оглянулся, да в глотку. Голову запрокинул и бутылку Мишке тянет... Мишка взял, да ко рту... А Осташков, как голову запрокинул, так и свалился на затылок. А Мишка на него, брюхом вперед... Я к им, кричу, чего черти балуете, нашли время... Подошел, а они аж синие, мертвые...

На войну как нас-то брали,
Всю мы путь со страху с...
А как сели мы в окопы,
Отсырели наши ж...
Только зад мы обсушили,
Тут нас бомбой устрашили.

Напужали, что собаку.
И велят итти в атаку.

— Сели в фильки, он стал тридцать по носу давать. Ась, два, три, досчитал до тридцати, да разок и перемахни... Я его и хвать по виску, да до смерти...

— Обнял я его сердечного, а он стонет. Чтобы не вопить, губы себе прикусьл, сквозь нос гудит-стонет... А я сам обескровел, слаб. Тащу все его, потише стараюсь, кто его знает, что кругом, не помнится ничего. Так мы с им до свету ползли, ух устал как! Кровь сперва сильно шла, потом перестала... Дышать больно... Как воду какую найду, пью-лакаю... И он обесчувствел. Легли, уж солнце высоко стояло. Лежим, четыре куста, река видна какая-то, поляна кругом, а за речкой лес молоденький, мирно... Та-та-та, слышим кони идут, останавлаваются, да по нас как пальнут... Ту-же ногу второй раз попортили, а его благородие убили, да и сгинули...

— Что казаки баб портят, то правда. Видел как девченку лет семи чисто как стерву разодрали. Один..., а трое ногами топочут, ржут. Думаю, уж под вторым она мертвенька была, а свое все четверо доказали. Я аж стыдобушкой кричал,—не слышат. А стащить не дались, набили...

— Получил он письмо, заперся часа на три. А потом меня зовет: «Иван, говорит, прибери халупу»... А прибрана с утра. «Слушаю», мол... Кручусь, с места на место переставляю. Покрутился, ушел... Опять, погодя, кличет. Сидит с письмом в руке, чудной какой-то... «Иван, прибери халупу», говорит... Я опять покрутился, вышел... Погодя, опять зовет, за тем-же. Что это,—думаю,—его разобрало? А как вышел я из халупы, он и застрелись...

— Милые вы мои, света я не взвидел. Нету тех слов, не вместить слову всей болезни. Оторвало от меня кус большой. Чую, до самого краю боль подошла, дальше-то и принять той боли нечем, не по силе человеку. Только тем мы и спасаемся, что морок...

БИБЛИОТЕКА
№
МЕСТКОМА № 23 Н.К.Ю.

— За что мне Георгия дали? Одно скажу, не за самое страшное. Вон мне страшно было, как я один средь врагов попал. У меня голова дурная, сплю я ровно колода бесчувственная. Вот, в перелеске привалился, да на тот свет и ухнул, сплю бревном. А проснулся ночью, кругом костры, и одна немота проклятая. Ни душеньки русской не слыхать. Что страху принял. Сердце во мне молотом стукало. Сдавалось на всю округу стучит. И зубы, не хуже, как перед ротой, дробь выбивали. Однако, к утру ушла погань, ровно туман от света.

Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Как попал я тут в беду,
Во слезу горючую,
Войну неминучую.
Ты скажи, святой угодник,
Чего война сладилась,
Чего война сладилась,
До русских наладилась.
Как наш русский-то народ
Все копал бы огород,
Да садил бы редьку крепку,
Да садил бы сладку репку,—
По полям бы спела рожь,
А война нам невтерпеж...

— Я за халупкой маленькой, на лежняке прилег и заснуть норовлю, нету сна с устали. Слышу, под лежняком говор тихий, словно бабы шепчутся, а встать не в моготу. Только чую не ладное, нагнулся, в отдушину глядеть, голос ясный, а слов не пойму, видать ничего не видно. Тут пошли стрелять по нас, деть себя просто некуда. Ушли за село, а как вернулись, гляжу, нет той халупки, заместо нее яма в земле глыбокая, а в яме ихний с телефоном, весь развороченый...

— На его глазах братишку австрийцы убили. Сердце в нем кровью засохло... Как зверь стал... Целый день сидит, выжидает, чтобы австриец нос показал—сейчас стрелять, и без промаху. Обед ему принесут, так деньщика с ружьем ставит, что-бы и минутки врагу милости не было... И до солдат облютел...

— Загудело грому страшнее, обвалилась на нас земля... Сразу-то ничего не понять, дух пропал... А как пришел в разум, смерти тяжче, живой в могиле... Песок во рту, в носу, дышать нечем... Опять обеспамятел... Откопали вот, весь поломан, и чуб сивый...

— Бывают чудеса и на войне с нашим братом. Что это было, не знаю. Я обезножил, отстал, да в канаве прилег. Думаю, пройдут недалече, догоню... Лежу и слышу, все идут да идут... И ночь уж к утру, а я не в силах... Слышу, идут и идут, все пехота. Сапоги так гулко отзываются, и очень в ногу идут... Думаю, что это господи, ведь нету здеся столько, уж не немцы ли?.. Голову на обочину вытащил , смотрю,—все саше сколько видно, верст на пять, полно упокойниками... Все по частям расставлены, в саванах белых... Топот слышен, а идут, как туман плывет, не шелохнутся... Замер я...

— Душу я на войне свою понял. Я человек хороший, и до людей добрый. Здесь мне делить нечего. Своего ничего нет, все казенное... Душа, и та чужая... Так всем одолжить готов, и душею...

— Вот как случилось, ведет меня, да все бьет. Да больно бьет-то. Это верно, чтобы я силы не собрал противу его. Я терплю, а тут не по чину пришлось, что ли , в зубы ударил. И запала думка— уйти. А уйти, так убить его надо руками голыми. Вот до чего Господь попустил, век не замолю. Ровно на дороге на большой. Повалил я его, он плачет слезами и лопочет. Я рот зажимать, руку целует. Задушил я его. Помню, дня два у меня сердце не живо было, и тошно все, ровно об'евшись был. Не забыть николи...

— А она знай трясется. Я, ласково так, не бойся, мол, бабушка, я только хлебца возьму, и стал с полки хлеб брать. А старуха как упадет с лавки, и померла. Очень уж здесь народ пуганый.

— Щемит сердце, да и сон клонит. Слышу, добирается кто-то, трава хрустит. Кто, спрашиваю—молчит. Я опять тихонько—молчит. И так мне страшно стало, как пальнул. Как закричит.

Тут и наши набежали, искать кинулись. Так только в крови трава, а чья кровь-то неизвестно. Ушло.

— Днем, хоть полк немецкий увидишь, не страшно за тобой свой брат. А ночью просто право-лево путаешь, все незнакомое, отовсюду беды ждешь. Ночью геройствовать не приходится, ни враг на тебя с почетом не посмотрит, ни друг не полюбуется. С ночью ты один на один, вот и страшно.

— Самое главное—хлеба вдосталь, тогда другого не надо, и страху нет. А как уменьшат порцию, так так тебе и сдается, что свету конец, коли рабочему человеку хлебушка нехватка.

— «Принеси вишивок»... Я и пошел. А это к венцу рубахи у них. Баба девкой спину гнула, да золотом расшивала, все радость виделась... Вот те и дождалась радости... Мужа австрийцы угнали, а ее наш брат грабит...

— Ощиплю курицу, кишки прочь, и в горшок. Туды все, что есть, положу, и перец, и лист лавровый, и картошки, и макаронов, и консервов,—что есть. И в печь. Как в кашу спаяется, тут и ешь с хлебом.

— Сказывали, что были времена особенные, когда народ правды и хорошей жизни искал. Встали все, как один, и с мест своих на многие тысячи верст ушли и там селиться старались. И будто с тех времен ходит война по свету кругом. Один другого с насиженого места сселит, а сселенный дале идет, и другого гонит. И так по всему свету война много веков гуляет. И будет ей тогда конец, когда все на свои места сядут.

— Я не только человека, курицу не мог зарезать. А теперь насмотрелся. По ночам спать нельзя, бомбы. Думаешь до того, голова гудит. Грех аль нет?.. Почем я знаю, может сотню, али больше душ загубил... А как грех?... На том свете начальство вперед не пустишь...

— Как вошли мы в город, все ничего. Жидова попряталась, и баб не видно. Заришься, все отперто, все твое. Патрулей не делали... Зовут, сказывают: «в патруль наряжаться». Пошли.

Три окна изба, деревянная... Криком старуха кричит, нас к ей подошло трое. «Что такое», спрашиваем. «Грабят», говорит, да так чудно говорит, только что понять можно. «Кто, говорим, грабит? Врешь, старая, всюду и всюду патрули ходят»... Идем, а там двое ихних мирных, из скрыни одежу дергают... Я одного за загривок, да в сундук, да запирать... Так ему смерти хочу, ровно мою старуху обидел. И не ее жаль, а обидно, что с... с... на своих пошел... А старуха кричит: «то мой сын, то мой сын»... А то на ее дочке женатый, да со своим братацом тещу грабят. Ну и натешились тут... Уж били мы, били, кости целой не оставили. Аха, стерва! А добро из сундука попортили... И не думали того, а попортили... У меня дак до этой поры вот портабак-то оттуда...

— Эх, ночи тяжкие, вот—спать тебе не приказано, а думы уйдут от устали, стоишь столбом, ждешь свету. Да не самого солнышка, а только что-бы видать было. Тут двинемся, ноги, ровно не свои, во рту ржавчина. И сердце немое, нету тебе ничего впереди.

— Там что надо скомандовали, сняли мы сумки да винтовки, все приладили и спать. До того натомились, во сне суставы трубят. А тут как рявкнет, как раскинет нас то. Так веришь, до того я сном обуян был, одна только думка,—убей, да не буди. Ей-богу, куда бросило, там до утра и проспал.

— Я на войну шел, все обдумал. Спорить не приходится, конечно. Однако, я бы и спорить не стал. Один только у нас и случай, что война, от каторжной нашей жизни оторваться. Тут только я и на свет вылез, людей вижу, да про себя понять время сыскал.

— Как громом меня та война сшибла. Только что с домом справился—пол настлал, крышу перекрыл, денег кой-как разжился. Вот, думаю, на ноги стану, не хуже людей. А тут пожалуйте. Сперва было пить задумал, а только сдержался,— на такую беду водка не лекарство.

Ух, ух, ух, ух,
На войне я петух,
На одной ноге скачу,
Да со страху кричу...

— Я бы не военным хотел страны чужие посетить. До смерти надоело страх вокруг себя, ровно жито, сеять. Мирно-бы все, по-людски... А то войдешь, чего-то стыдно, аж до жалости. В глаза смотреть боязно... Вот говорят,—все пошло, как быть должно... А чего это в глаза людям не взглянешь?... Лихо дело война...

— Устал я воевать. Сперва по дому тосковал. Потом привык, новому радовался... Страх пережил—к бою сердце горело... А теперь перегорело, ничего нету... Ни домой не хочу, ни новости не жду, ни смерти не боюсь, ни бою не радуюсь... Устал...

— Дал мне приказ, ковры ему купить, и сто рублей денег. Я в село, ковры есть, а отдавать не хотят. Я и деньги давал, не хотят да и только. Я и скажи: „Не дадите, сейчас детей стрелять буду, за ослушание начальству"... Да мальченку за ворот... Отдали даром...

— Нигде я такого жасмину не видал,—не куст,—дерево... Дух, сердце держит... В такую рощу жасминную нас и поставили. Легли, дохнуть тяжко от жасмину...

В голове, ровно старая бабка сказку сказывает. Верных мыслей нет, ни скуки, ни страху; сказка, да и только...

Однако, скоро сказка та покончилась... Ударило по самому жасмину, перестало чудиться, как Степняков благим матом ноги жалеть стал: обоих лишился... Я вон в той-же сказке, глаз проглядел... Лиха бабка пусть ему сказку сказывает...

— Я к нему подвигаюсь, а тут пули, а тут бомбы—не дается... Я к нему—он дале, я к нему—он дале, такой конь клятый! Ка-ак выскочит ихний офицер, да на меня секачем своим как вдарит!.. Я в землю. Тут и конь стал.

Нету хуже той напасти,
Как служить в пехотной части.
Пешки день деньской идешь,
Только ляжешь, гложет вошь,
Только вшу почнешь гонять
По окопу бомбов пять.
Все печенки первернутся,
Тут команды раздадутся,—
Эй , ребяты, не сиди,
На штыки время идти...

От царя исподняя,
За то шкура родная.
Так мне станет жалко шкуры,
Не испортил б враг фигуры,
И фигуру и лицо,
Обручальное кольцо.
Станут ножки, что пуды,
А податься некуды...

— А я так очень даже охотно шел. Домашние меня просто слезами исслезили, а я хоть бы что, стою истуканом, да со стыда хмыкаю. А в думке одно, кабы поскорее. Я шумное житье люблю, разное. Мне война как раз впору.

— Смотрю я в окно, а со двора к стеклу рожа прилипла: нос расплющеный, глаз раскосый, зеленый, на голове шапища копна, с под шеи халат во все брюхо пестрыми цветами горит. Ну, чистый Мамай. Мое солдатское сердце хвостом овечьим затрепалось, а каково на такую текинскую образину нежной австрийской бабе глядеть.

— В брод перейти, да сторожко, а то встревожим—перебьет. Полез в реку, как тише стараюсь, а все в темноте-то, нет-нет, а щучиной плеснешь. Холодная вода, быстрая, просто несет тебя. Шел-шел, да и ухнул в глыбь, и поплыл в темь. Где берег—не разберу. Через долгое время прибился, вылез—немец на меня. Не туда попал. Поплыл опять. Вылез — немец. Раз пять так-то. Почитай до свету я утопленником шлялся, да

немцев смущал. Сколько они патронов схолостили, покуда я к месту своему не прибился.

Сколько бывало я сказок слушаю, об одном жаль, что не так в жизни бывает. На войне же я сказок понасмотрелся собственными глазами: и разбойники-то, и сироты замученые, и воскресших сколько, и мертвые стоят,—чего только, чего нету. Чистая сказка, да только больно уж страшная.

— Нет добра в моей душе для дома оставшихся. Когда читаю, что там жить худо, радуюсь... Пусть, думаю, пожрут друг друга, как гады, за то, что нас на муку послали...

— Так и поп иной, борода на ем—Саваофу на брюхо, а сам жрет, да рыгает, да бесперечь попят плодит.

— Пересвет—тот был парень очень даже хваткий, пройда и бродяга всесветный. А уж тот, Ослябя—видно по званию своему, что хилый да слабый, вроде сопли. И как это Пересвет с ним в товарищах геройствовал—не пойму, но только веры в то не имею.

— Холера, скажу тебе, это так болезнь! Настоящая. Боль в тебе такая, ровно ножем режет, нутро вывернет, соки все из тебя повыкачает. И станешь ты сухой, да пустой. Тут загнет тебя в корчу, и силы не станет. Кровь схолодится. Греть тебя станут, да воду за шкуру заливать.

— «Стой, кричу, стой, не бойсь, что холодно, а ты сигани, ноги не замочишь». Он сиганул, да в воду. Наделал нам беды, часа три искали, знашли нежива. Да все на меня, чего мальца подбил... Будто на мне тот грех. А я вот не чую, не я, так немец. Теперь смерти-то не уторопить, все во время...

— Я не говорун какой Балакирев. И слово мое ответное. Не допустил Господь крови попробовать, а так в охоту, ровно не на аржаном взрощены. Скажу, гирей взвесишь...

— Идешь в избу, баба сидит, волком смотрит с голоду... Отдашь ей хлеб, и глаза у ней светлые станут, и ребятишки

откуда-то вырастут, и пес под ногами хвостом крутит... Хлеб— великое дело.

— Сейчас полотно рвать. Вот, понаделали портянок, я себе все с буквами углы рвал. Герб ихний, корона, и две буквы, Верно, что война хоть зла, да тем мила: что со стола—то под себя...

— Ну и храм, ровно курятник старый. Ей-богу, смех берет, а я с измальства церкви прилежен. Изба у них—хоромы. И кровати чистые, и шкапы, и диваны, и посуда, и по садку розы,—ровно в цирюльне, слажены да стрижены. А храм ровно хлевок. У нас не то. И таракан, и грязища, и дух густой, аж в носу щиплет. Наша-то избица—спи до птицы, поел хлебца в волю—да и в поле. За то—Богу радетели и ему домок на славу строим...

— Ах гусь ты, гусь дурной ты, я вижу. Что ты думаешь, все начальство глупее тебя, а ты один, как Ладин?.. Голова котлом, а сам соколом?.. Ты-бы то, ты-бы это... А ты одно обмозгуй, как бы жить без бабы?.. И того не придумаешь, а туда-же немца хвалить...

— Остался я, забыли что-ли. Сторожу... День живу, сухари ем. Второй день, не стало сухарей. На третий, так голодно стало... Пошел искать, нашел гриб. Воду в жестянке закипятил, с грибом съел, все вырвало. Что делать? За мной не идут... К вечеру, хоть помирать впору, живот болит, корчит, рвет... Холера напала, пришли и в барак взяли... Вот те и вся моя служба была...

— Сперва я слов его понять никак не умел. Что ни скажет, хоть воды подать, стою столбом, пока раздумаю... Он и покончил, что я дуб. А я не глупый был, только не привычен. А как выходил я его, полюбил меня. Я его бояться перестал, из дураков вышел. Какой уж дурной, коли мне родной...

— Что хорошего ты видишь здесь?.. Оно правда, что замужняя, да чего на войну-то пошла?... Разве не жаль тебе глаз да ушей?....

— Осмотрел ее фельдшер, где достала, говорит, стерва?.. Муж-де приезжал и наградил. Врешь, муж такой беды своей законной жене не сделает... Она плакать. «Верно,—говорит,— меня офицер позвал, приходила чтоб вечером, белье взять. Я пришла, а они трое меня аж до полночи мучили, отпустили, и три рубля дали... С той поры и хвораю»... Это в ** было, штабные с жиру бесились...

— Стою я час, другой, устал до того, что ног не чую. А он, как не пройдет, все ругает, да кулаком выправку поправляет. Потом-то, к четвертому часу, просто память потерял, а все на ногах. Тут не упадешь. Только страх и держит, а силы никакой...

— Его скоро подстрелили. Особенно падал он, умирать как стал. Сперва на лицо, а потом подскочил, и на спину лег... И чего это все такое помнишь?... А мой братишка, так так умер. Уж много пробег, а тут одна пуля ему в руку,—он дальше, другая ему в плечо,—он дальше, а тут уж хлобыснуло его пулеметом по ногам. Упал...

— И сколько этих хлопот бывает при хозяйстве, облипнет тебя сеткой мелкою, словно перепела,—не выбиться. На войне-то хоть сеть крупна, больше через нее видно.

Солнце светит, в бубен бьют, на скрипке играют, а народ бесовски скачет-топочет. Пыль столбом, под ногами ребятишки змеями вьются и псы брешут-заливаются.

— Я с Семеном вдвоем пошли, а барана несем по очереди. Не мешает, живой, а не противится. Но, однако, устали, сели посидеть, не заметили, как уснули. Сплю, слышу—Семен меня тихонько окликает: немцы коло нас... Как не было сна. Сижу, в ночь темную словно сова смотрю, ничего не видно. И слыхать ничего не слышно, окромя как со страху в уши ухает... Немного продохнул, слышу, правда немцы... А я еще как из дому шел, плену пуще смерти зарекался... Кто его знает, как баран наш развязался, да через кусты шварк, да шуму наделал. Со страху-то,—словно гром прошел. Уж тут-ли тебе скотину жалеть, господи... только как вскочит мой Семен, да за бараном, да за кусты, да сгинул... А немцы за ним, да стрелять,

да далече слышу гонят... А я драла в другую сторону, бег, бег, на солдат наших к утру дорвался... А Семена так и нету... Горя сколько, семейство... Вот-те и баран!..

— Я хоть и обязан был по долгу службы ждать, однако, не смог я. Свечерело, быстро в тех местах темень приходит... Не боялся я до тех пор, а тут чего это Василий в голову лезет. Лицо его все у меня в глазах, особенно как зажмурюсь... Просто сил моих не стало. Ружье-то тяжелое, а знаю, он за кустом лежит. И уж не встать-же мертвому, а все я будто его на руке чувствую... Надумаю такое, что ни вправо, ни влево не гляжу, боюсь... Вот тебе и на посту... Не знаю, долго-ли я так протомился, будто жизнь моя прошла... А тут ясно слышу, из васильева куста ползет... Господи, я как гаркну, «кто такой»?.. А тот на меня как кинется сзаду—ну нету тех слов, какого я страху нажил... Мне все равно, подтоптал меня, мне уж больше бояться некуда, не хватит... И голосу не стало... А тут мигом наши подошли и немца с меня сняли...

— «Стой, говорю, ни ты царю воин, ни я не докладчик. Не та у меня душа. Только жить тебе в этом месте не для ча, такого смердящего военная пуля святая не возьмет. А убить— убью». Плюнул на заряд, да и убил шпиена поганой той пулей.

— Эх вначале, как погнали нас семнадцатеро из деревни, ничего не понятно, а больше плохо... Ух и заскучали мы... На каждой станции шум делали, матерно барышень ругали, аж я с тела спал... И надругались, как над дурнями... А мы не очень-то дурни были, работящие парни, один в один хозяева... Я при отце работал в строгости, только и баловства моего было, что четыре месяца на фабрике фордыбачил... А тут кругом соблазн, и ни тебе свободы, ни тебе попечения... За то теперь попал я на позицию... Так я плакал, как сюда ехал, просто с жизнью прощался... Маменька-то лет пятнадцать померши, а я все плачу,—мамашенька, мамашенька,—причитаю...

— Я не знаю, что я после войны делать буду. Так я от всего отпал, сказать не могу. Здесь ты ровно ребенок малый, что велят, то и делай. И думать ничего не приказано, думкой здесь

ничего не сделаешь... Одна машина, что я—то Илья, что Евсей—то и все...

— Письма получать с подарками люблю... Все думаешь, есть еще где-то люди мирные, жизнь светлая...

— Братцы мои кровные, и за что это нас, пеших, казаки не любят? А за то, братцы, не любят, что они до людей не привычны... Человека не оседлаешь, он те такого козла даст,—дух вон...

— Я козырялся не долго. Поднял что лежало, а то бы пропало. Не снесть, не с'есть, а все есть...

— Вышли мы рано, еще и туман стоял. И решил я, что последняя то моя дорога будет, убьют беспременно. Идем мерно, кто крестится, кто спину проминает... А разговоров нету, не до них, каждый в омут ныряет—да жизнь вспоминает. Шли, шли, встали, ружья сняли. Ноет тело, ровно мозоль старая, Так бы и вылез из шкуры, до того поизносился в походе...

— Деньщику подвиг один: заря в оконце, сапоги, что солнце. А я ошибся малость, пожалел, что горячего он долго не ел, да и пошел с кастрюлею,—а меня по ногам пулею...

— Смерть, она бывает, сама себе выбирает. По другому, враг все, что знает, в ход пущает,—невредим. А тут сидит человек и вошь гоняет. Сто лет ему вошь гонять, ан глядь, самого ровно вшу разщавлило...

— Кто смерти не боится, не велика птица. А вот, кто жизнь полюбил, тот страх загубил...

— Здесь разве покойник чем ужасен? Здесь не боязно, здесь в ем души-то нету, вокруг она не ходит... Здесь у нас душа общая... Коль в тебе что от нее есть,—не ужаснешься...

— Больно тело свое работой перепружил. Отработался, руки-ноги, ровно гири, на безделье не поднять. Мозги так совсем отвыкли, не утруждаются, заматерели. А с войной-то, самое время пришло, голове кланяться...

Ты лети, лети газета
Во деревню бедную,
Раскажи родне газета
Про войну победную.
Чтобы знали нашу долю,
Про сынов бы ведали,
Чтоб воину дали волю,
А в обиду б не дали...

— Война войной, а не в войне дело для души человечьей. Коли б нам времени на этом свете отпущено вдосталь было,— так и про войну судить стоило б. А то, жизни-то самая малость, да через ту малость на век душу живу провести надобно. Тут и война-то, только что шкуру пощиплет, одна работа—душу сберечь, хоть в миру, хоть на войне на этой...

— Ну, и был денек... Пришли, стали, ждем. Идет, лопочет-бурчит, потом стал морду бить. А я не знаю за что. Ну, терплю. Бил-бил, да потом задержался, дал время. Я его и ахнул до беспамяти.

— Есть такие, что им до всего душа лежит, и обо всех они думой раскидывают. Этим дома-ли, здесь-ли—все едино. А нашему брату, как душу на волю выпустили. Ты меня бей и ругай, а только как мать родная заботься... Здесь мне и пища, и одежа казенные... Спокоен я...

— Мне ничего теперь не нужно, лежал бы и ни о чем не думал... Каждому на этом свете своя мерка горя отпущена... А я, видно, чужую починать стал, вот и устал...

— Сидел он не долго в приморском городе, пока чесотка прошла. Тогда осмотрели его и пустили. Пробрался он в большой город, таких у нас и нет. Работал, точно, что хуже вола запрягался, обиды же не было. И скоро деньгу нажил, женился на ихней, очень красивой, детей двое. Все было. А война пришла—сперва уламывал жену, а как не уломал, бросил и семью и дела,—да на второй же месяц в окопах, на тот свет и угодил... Рядом страдали. Никто не тянул, сам винен. Вот она кровь-то родная... Всего нужнее...

— Все мы с ним ругались, сердце до него лежит, а что скажет, все не по мне. Ночью вдвоем решились, четверых сзади оставили. Больше всего боязно, что быон, сохрани Бог, Георгия первый не получил... И чего это они от нас бежали, верно целую роту разглядели, а нас двое... Впотьмах, и блоха страх... Я двоих взял. А он офицера ихнево привел и крест получил... Теперь я его за счастье очень уважаю...

—

— Брали мы в те поры с большого бою, и очень распалили себя. Удержу нет, рука раззудилась. Я вон, какой мирной, а тут, как пришел, кошку брюхатую штыком пырнул. Только и подглядываю, как-бы додраться... Потом-то уж сном злоба разошлась. А как так-то, изо дня в день,—во пса лютого оборотиться недолго...

—

— Я думаю, успею сбегать. Так мне рубаха эта нужна, так мила... Да и бабу повидать хочу, стирку. Хорошая баба, ничем не обидела. Да навстречу австрийцу и пошел, я с одного конца в деревню, а он с другого. А изба-то бабина на австрийском конце... Я вскочил в избу, да хвать белье с полки, какое нинаесть, бабу за груди, да в дверь, да драла... А они орут, да стреляют... Ни одна не попала... А порток четыре пары, и рубаху теплую, взял... Приданое имею, хоть сейчас под венец...

—

— Выпил-бы ведро водки... Вот как скучаю, всегда занимался.. А теперь жизнь зверская, так в зверином-то образе, легче-бы было...

—

— Я думаю, что и страх на свете душу держит... Давно-бы сдох, кабы не страх... Разве-ж я о чем жалею, когда боюсь? Ни о чем не помню, и не знаю для чего жизнь берегу... Только ради страха и берегу...

—

— Я не все помню хорошо. Кровь шла, болело здорово, да сладко таково тянет. И все, как за туманом виделось. А проснулся уж ночью, больно не очень, только чую—смерть моя близка. Так ведь что жалеть стал! Сундучишко все свой солдатский вспоминаю, и более всего за него беспокоюсь. А дома да семейства, как не было...

—

— Вчера я, в чем мать родила, выскочил из палатки. Звезды сияют, тихо, поверить нельзя, что война на свете. Чисто тебе ночь под праздник... Что это, думаю, не похоже что мирно все?.. Не то, что птицы никакой не шелохнет нигде, не то на душе не по-мирному... Жду несчастья... Тут и застукали пулеметы, и ружья затрещали, и пошла ночь в котле кипеть... Вот и меня рапили, я еще тепленький, свежий...

— И я на себе вынес вон этого. Халявкину-то ведь восемнадцатый годок, чай жизнь-то в нем крепкая. Вот я и зажалел... И парень ведь тихий, а как нес, так меня усовещивал, да все матерно... Вот с... с..., ну да ладно, мамке на тебя ужо нажалуюсь, она тебе штаны-то сымет...

Ты признайся, генерал,
Как войну ты воевал?
— «Как бывало я вскочу,
Умываться захочу,
Трут меня душистым мылом,
А я им рукою в рыло.
Тут чесать, да одевать,
А я матерно ругать.
Чаю-кофию напьюсь,
Да на койку завалюсь.
А от немцева орудья
Оченно болел я грудью,
А от пушечного звука
Засвербило мое ухо.
Мне коляску подают,
В лазарет меня везут.
Так-то раз меня везли,
Да знать плохо берегли,
А немецкий ероплан,
Мне на голову наклал,
Мне на голову наклал,
Я на небо и попал»...
— «Убирайся ты к чертям,
Ты не воин, чисто срам,
Для такого на том свете,
Не знайдется лазарета»...

Осерчал тут генерал,
Задираться с Богом стал:
— «У меня красна подкладка,
У меня своя палатка,
У меня жена вся в бантах,
А тужурка в эксельбантах,
Как на мой на кажный палец,
Есть хороший ординарец,
Как на кажный башмачек,
Есть особый деньщичек».

— Такое со мной бывает, что самое простое не пойму, ровно все слова чужие станут. Над каким словом, ну там—хлеб, али стол, али пес, все едино стою столбом. Чудным кажется то слово, ровно ты дитя малое, и впервой тому слову учишься. Все это, думаю, от жизни здешней. Сон не сон та война, а и не житье настоящее...

— Что-же, расскажу сказку... Ночью шли лесом, только как у мерина селезенка играет, ух да туп, ух да туп. Ни зги не видать, и тихо... Что дальше, встали... Говорят, хорошо-бы чайку... Нельзя, увидит. Терплю. Вдруг это меня кто-то за рукав, и к сторонке... Я упираюсь, а он тащит, потом к земле пригнул. Я присел, сыро, пень что-ли, али кочка. А он мне, молчит, и в рот бутылку сует. Я пить смело, а там ром... А выпил, сгинул тот, как не было... Подошел я до земляков, а они мне: что это от тебя дух больно хороший?..

Я хожу в иллюзион
По самую ночку,
Как туда веду мамашу,
А оттуда дочку.

Я хожу в иллюзион,
Самое приятное,
А домой приду к хозяйке
В одеяло ватное.

Я хожу в иллюзион,
А со мной хозяйка.
А хозяйка моя немка,
Вот и примечай-ка.

Я хожу в иллюзион,
Да служу в солдатах,
А хозяйки моей немец
Бьется на Карпатах.

Я хожу в иллюзион,
Немчуры мне жалко,
Что хоть я вот, что хоть он,—
— Оба мы под палкой.

— Гляжу, что руки не как у людей, малы больно... И нет для нашего брата милее, как у сестры руки нежные... Словно во сне такая работает... Все бы не кричал, чтоб не оглянулась, да не проснулась...

— Ах, как выскочил я, направо Алешка, налево Петренко. Кричим, бежим, упали... Зарываюсь, так быстренько стараюсь, стараюсь, а кругом пуля визжит... Вскочили, бежим. Алешка бежит, а Петренки нету... Думаю: «как его убили, так и меня убьют, как его убили, так и меня убьют... И чего это такая думка пришла, не знаю, а все думаю одно это... Добежал, и сильно работал штыком, лиц просто не видел... Невредим вернулся... Глотка до того охрипла, три дни хрипел, с крику сорвал. В глазах туман белый, только скрозь него все и виделось, то-же дня три... А Петренку убили...

Пушка громом бухает,
Во мне печенка ухает,
С пулеметного огня,
Да подвело всего меня,
А с ружья сгубил я силу,
Мне в траншее, что в могиле...
Никуда тут не уйти,
Только б шкуру сберегти...

Дымом землю окоптил—до темна;
Громом землю оглушил—до глуха,
Трупом землю окормил—до полна,
Кровью землю опоил—до тошна...

На какой голос ревет, на какой голос поет,
На тот на голос, что смерть дает...
Приди человек до полсудьбы,
Приди солдатушко до полубоя,
Как и бой не бой, людям убой,
Как рвет и землю и дерево,
И солдатское тело томленое.
Во соседнем селе белы рученьки,
Во чистой реке победна головушка,
Во густых хлебах быстры ноженьки,
Во глубоком рву ясны оченьки,
А как кровь тепла во сырой земле,
Во сырой земле, во чужой стране.
А душа крещена в поднебесьи,
В поднебесьи-величании,
За солдатское послушание...

Утомилось сердце, малость ссохнуло,
Света сердце хочет, да покой-добра,
Тихомирной беседушки.
Нету сердцу воли-солнышка,
Да на том на безвременьи,
Да на том на умертвии,
На вороньем пировании...

Уж как по саду, по веселому,
За павой пястрой, шла кукушечка.
Шла кукушечка, приседаючи,
Долю горькую проклинаючи.
«Ты пава пястра, ты пава красна,
Не носи яиц, за чужи прясла...
Я сынов снесла, за чужи прясла,
За чужи прясла, суседки корма.
Кукушиный царь разметал перье,
Разметал перье, навострил копье.
Загремел войной на суседушек.
Пропадать сынкам всем, без следушек.
Коль не царь войной, так сусед метлой.
Знать суседушка—не отец родной»...

— Как стемнело, мы и пошли. Они нас под руки к себе... Ну и живут, сукины дети... Чисто дворец царский, а не окопы... Сейчас это нам кофию, да рому. Калякают, кто как умеет,—камрад да камрад... Офицер ихний бумажки раздавал, так вежливенько. Взяли, не грех, все больше не грамотные, так чего обижать? Попили, поели, про все погуторили, пора и честь знать, домой. Только заcели, бежит от них солдатик, благим матом вопит: «рятуйте, рятуйте, смерть мени будэ»... А это, один землячек, как в гостях-то был, до его винтовки больно привык... Так заскучал, что с собой ее взял... Ну, дали назад. Плакал, как спасибовал, а то расстрел... Через полчаса, и мы по знакомцам-то огонь открыли... Дружба дружбой, а и служба службой...

— Немецкий царь до нас рать свою спосылать задумал. Собрал старого да малого, глупого да бывалого, хилого да здравого, робкого да бравого:—«Идите, люди немецкие, на Русь великую, воюйте, люди немецкие, вы землю русскую, испейте, люди немецкие, вы кровь горячую, умойтесь, люди немецкие,—слезами бабьими, кормитесь, люди немецкие,—хлебами трудными, оденьтесь, люди немецкие,—мехами теплыми, согрейтесь люди немецкие—лесами темными».

— Сидит и не смотрит, волк волком. Я ему миску подставляю, «ешь», говорю. Не глядит, и головою закрутил. А знаю, что как пес голодный... К вечеру голову свесил, а от пищи носом крутит... Насильно потом кормить стали, зажмем, да и зальем чего нито. Сперва реветь пошел, ревет и ревет. А к утру сам запросил, и здорово жрать начал. Как приобык, сказывал, что смерти от русских ждал, а добра никакого...

— За стеной тихо сперва было, и мы с Семеном притаились. Кто его знает, свой, али враг. Только вдруг слышим,—ой да ой, ох да ох. Я и пытаю Семена. «Помирает ктой-то верно, помочь что-ли»? А Семен мне—«нишкни, пропадем». А тот все ахахаханьки, да охохошеньки. Я и говорю,—«душа, говорю, не терпит, так помочь хочу, да и больно по нашему ахает, по русски». Пошел, а там немец здоровый, брошеный, животом мается. Я его тер, тер, покуда не оттер. Отошел, с нами не пошел, стал своих

дожидаться. А нас так очень благодарил, как мы с Семеном уходили к свету.

— И придумалось такое: вот послало его ихнее начальство, вроде как нас. Ото всего оторвали, где жена, где изба, где и матушка родна; что мы, что они—оба без вины. А ему и еще чажче: говорят, хорошо у них в домах. Как кинешь?

— Я к оконцу, стук-стук... Баба отперла, робкая бабенка, дрожит, молчит. Я хлеба прошу. На стенке шкап, оттуда хлеба да сыру достала, и вино стала на машинке греть. Ем, аж за ушми трещит. Думаю, нет такой силы, что-бы меня с того места, выманить... Опять в оконце стук-стук. Баба, ровно и мне, отперла. Гляжу, австриец в избу ввалился... Смотрим друг на дружку, кусок у меня поперек, хоть рвать в пору... Что делать, не знаем... Сел, хлеб взял, и сыру. Жрет, так убирает, не хуже, меня. Вино бабенка подала горячее, да две чашки. И стали мы пить, ровно шабры какие. Попили, поели, легли на лавке голова к голове. Утром разошлись. Некому приказывать было.

— Спроси ты меня, что я в союзе том понимаю—ни клинышка... А сердце радуется, я и сам-бы таких выбрал... Только лучше-бы нам самим воевать, чести больше. И справились-бы. Говорят, хорошие немцы воины. Не знаю, а австриец—дерьмо. Хлипкий, из носу сопля,—тоже воин!..

— Я ему руки держу, и грудью навалился, и ногами ноги его загреб. И так мне несподручно, так времени мало, дышать неколи, и одна дума,—жаль до смерти, что рук-то у меня две только. По-старому слажены, а на немца той старины не хватит...

— А у нас теперь все немца хвалят. По нашему теперь, что немец, что ученый мудрец, все едино... А все с того началось, что сами больно глупы оказались... Вот уж верно, что—молодец посередь овец, а противу молодца,—и сам овца...

— Связал я ему руки, а когда до леску дошли, я его поясом за ноги спутал, что коня. Говорю, «садись, отдыхать станем». Он сел, я ему сейчас папироску в зубы. Усмехнулся, а сам аж

синий... Спрошу «офицер»?—головою кив, спрошу «солдат»?—головою кив... Не пойму, курю и в думке прикидываю, как-бы познатнее представить, чтобы наградили... Выкурил,—«вставай, говорю, пойдем». Молчит... Я опять сурово, он молчит... Смотрю, усмехается, и папироска в зубах потухла. Тронул,—а он мертвый...

— Прицелился, пальнул, он—в землю, я к ему—не дышит. Я к ему руку в кубуру, за револьвертом, а там папиросы... Так верите, братцы, словно зверя ухватил, словно ожгло меня,—до того жаль немца стало.

— Пить пей, а дело разумей... Я у Барановичей насмотрелся, как немцы пьяны. Взял его уж так через силу, коло него не продохнешь, а молчит. Скорее помрет, а своих не выдаст... Крепкий народ...

— Одно слово, австриец. Шинель—сини крылья, распрорешка. Чисто тебе жук, сейчас полетит. Фуражка ковшом, ноги тесмой позамотаны, руки жидкие, глаз хитрый...

— И у них народ разный есть. Немец, действительно, народ рабочий, и до всего отчайные ребята. За то австриец ни к чему рук не приложит. Еще на себя пристроит все хорошо, а уж насчет войны—не любит австриец воевать...

— Знают немцы такое свое слово особенное. Ладится у них все не по-нашему. Ни в одеже в ихней, ни в питье да пище, ни в оружьи каком не видать пороку. И дородные, видно, в свою меру жили. И что за слово у них за такое? Может, и мы бы то слово нашли, да приказу нету...

— Люди очень с лица несвойские. На голове шерсть растет, нос шлепкой, губы титьками, кожей как грех черны, и только зубы светятся.

Уж ты немец—колбаса,
Натянул ты нам носа,
Как мы чаяли, что лопнет,
По башке он нас как хлопнет.

У него ружье, что пушка,
У нас пушка, что хлопушка.
Ероплан у них не достать,
У нас—курка мокрохвоста.
Как галета ихня—мед,
С нашей—круглы сутки рвет.
У них баня хороша,
А нас сутки гложет вша,
Их начальник, что картина,
Наш дерется, как скотина.
Для них музыка играет,
А нас матерно ругают.
Немцу взводный ручку жмет,
А нам взводный морды бьет...

— Итальянец плохой солдат. Ты только посуди, чего ему воевать?.. Солнце круглый год греет, плоды всякие круглый год зреют, руку протянул—апельсин... Работать не надо, земля сама родит, все есть, чего ему воевать?.. А немцы голодом живут, у них все машина, а машиной сыт не будешь... Вот и рвут, что есть силы... А мы народ мирный, нам только обиды не делай, мы себя прокормим... Чужого не надо...

А как немец кофий пьет,
С сахаром в накладку,
У него война идет,
Ровно бы в прохладку.
Как окопы с оконцом,
А в стене картина,
Как постеля с матрацом,
Не натрудишь спину.
Как в окопе чистый пол,
Под воду боченки,
Как день целый полон стол,
Цельну ночь девченки...
И веселье и питье,
Беспечальное житье...

— Сейчас это они побрали самых красивых девок, да баб молодых,—и ему в гарем предоставили. Турка хлебом не корми,

а только бабу дай, хоть поглядеть... У них, у кажного по десять жен, а уж султан-то без счета путается. Девка на кажну ночь, только-бы в мочь. Вот купилы султана, а итальянцы, как у них баб-то позабирали, обиделись. А австрийцу где красоты-то набрать, ихние да немецкие женки—ровно жабы... А итальянка, одно слово—апельсин... Так и вышло, турку попустили—итальянца пропустили...

— Чего ты, озверел что-ли, во пса оборотился! Чего ты это раненых на дождь хочешь? Так ведь криком кричит: «либо я здесь, либо они». Смерть ему рядом с немцем, так ему ноги жаль...

— Был портным в Могилеве. Семеро детей. Как попал в казармы, сразу засмеяли, над моей наружностью издевались. Кроме «пархатый» я не слышал обращения. Обещали мне не посылать на передовые позиции, вы сами видите, что я не солдат, я очень слаб. Теперь, вероятно, не выживу, хоть мне и обещал доктор. Но ведь еврею только и жить приходится, что обещаниями... Одним словом, я в окопах, больше френчи господам офицерам шил... И в самом деле, как я могу атаковать со своим видом?.. Я шил господину ротному, приходит поручик **, и говорит:«мне стыдно будет умереть в рваной гимнастерке, почини, Мойша, пожалуйста»... Это самый вежливый офицер. Я взял, не в силах был отказать, так меня это «пожалуйста»—растрогало, до слез... Шью, и дом вспомнил... В это время, на мое еврейское счастье, подходит господин ротный... И меня сильно побил, и велел на бруствер выставить на пять минут... Что я буду рассказывать?.. За это Георгия таки не дают.

— Русский наш народ, сказывают, задним умом крепок. Он тебе головой в дерьмо, а задом думает—это я в рай попал.

— Именья у меня с войны немного. Грабить не грабил, а что деньги чужие есть, так то дадены жидовкой: заступился. Я приглядываюсь, а они старого жида в пейсах,—столетний жид, сухой, пейсатый, на ногах чулки белые, а волос, аж дожелта седой,—так земляки его нагайками через изгородь скакать заставляют. Я до них: «Бога не боитесь, старый жид-то, грех какой»... Они пустили, а жидовка мне лопочет, да деньги сует. Я взял. Десять корон...

— Нет мне горше разговора чужого. Так сержусь, просто сказать не могу, до чего сердце имею. До греха... Так-бы и убил, как по чужому говорят... А многие понимают, учились... Словно чудо...

— По совести сказать, не вижу я врага ни в каком человеке. Ну что мне немец, коли он меня ничем не обидел. А знаю я, что не солдатское это дело, так рассуждать. Войну воюем, так уж тут нечего сыропиться, только с чего эта война, не пойму.

— У немца башка, ровно завод хороший, смажь маслицем, да и работай на славу, без помехи. А мы что... Перво на перво, биты много. Вон мне и по сей день, окромя побоев, ничего не снится. Учить не учат, бьют да мучат...

— Нет хуже немецкого офицера. Вот это так собака, куды наш!.. Мне ихний раненый рассказывал,—не видит просто тебя, ну, ровно ты и не на свете совсем... Наш-то, хоть за собаку тебя почитает, все легче.

— Очень хорошо с немцами говорить, образованный народ. Одно тяжеленько, что по-русски не маракуют. Да про настоящее все понять у друг-дружки можно.

— Я с какой угодно нацией разговорюсь. Я ему головой «здравствуй» значит. Ну и руку. Ладно, знакомы. А после ему хлеба в руку, папироску в зубы. За руку возьму—рядком посажу. Тут дружба, тут всякий разговор. Все равно, что немец, что француз.

— Смешно немцы говорят—гав, гав. Хуже нашего. А народ умный, грамотный. Хоть пьют, однако без буйства. Только сердцем противу русского—ку-уды! Не отходчивы. Нашему немец башку проломит—так и то дружок; а у него мизинчик сыми, три дня потом привыкает,—никак не простит. Обидчив.

— У нас евреев мало. Я только и знал двоих, часы один делал. И отца его знал, старика. Люди были, хоть бы и нам христианам впору. Молодой-то добрый и ласковый, говорил он мало, больше кашлял, да сох. А старый, тот все за книгами, за

своими. Кругом хоть пожар гори, пить-есть за книгами забывал. Уважали мы этих евреев, а больше-то я дома и не видал.

— Я об этом разве разговор вел... Я и сам знаю, чего меня учить. Видно, что не как все человек, какой то другой... Как с ним хлеба пожуешь, на лавке переспишь рядком,—видно все. Только что скажешь; умом сразу примет; рожа аж кривится, так его слово наскрозь проберет... А через русского—слово нейдет. В нем путей нету. Пока прочувствует... А тот пустой, в нем естество жидкое, вот и зовется жид...

— Татарин, он хоть и не крещеный, а за ним греха нету. Язычник, у него что ни рожа—угодник божий, ему и козлины рога—бога. Дурень. А вот жид—тот в ответе... Хитер как бес, до науки доходчив... Ему крещена душа—что пшенична лапша. Заглонул, пососал, и дерьмом на землю...

— Ну и несешь ты, ровно с капусты кислой... И чего тебе жид наделал?.. Что тебя сосать-то было? Всего-то и колосьев, что волосьев. Очень ты кому нужен, из тебя и дерьма не наделаешь... А вот тот, кто тебя этому учит, у того, верно, в мешке густо, да в башке пусто. Посмотрел-бы чай, как жид с голоду пухнет... А тебя и с голоду не тронет, не бойся... Ему и закон запрещает всякую дрянь в рот брать...

— Я думаю, побьем мы немца. Он, говорят, и теперь в неделю белье меняет. Скоро надоест ему без хороших удобств проживать, отвалится...

— Уж такой вежливый, да ученый, и лечить умел. И вещей у него разных мелких много было, ложек и вилок, и всего. Только хилый был очень. Как громили, так его сразу убили свойным же подсвечником серебряным. Да еще и дутым, словно воробья.

— Немцы народ мудреный. Уж раз они на русский говор глухи, так значит наше то все они знают, а сверх того и свое немецкое. А кабы да они нашего не знали, так даллось бы им нашу речь разуметь, дошлые.

— И выходит так то, одно на одно, значит и мы все ихнее знаем, коли по немецки ни аза. А на деле то—они противу нас, что Мамай против пеленыша.

— Ни за что ты не в ответе. Бьет-ли немец, али мы бьем,— никто не в ответе... А у немцев, говорят, всякий отвечает, должен знать, что делает. Их разве так учат, как нас, ра-та-та, да та-та-ра... Нет, им доказывают, как враги живут, и какие привычки имеют. А с боя вернулся, допрос: «ты что сделал»?.. По приказу каждый выполняет... Многому нас немцы научат, да пока научат—умучат...

— «Хот» по ихнему Господь Бог. Что это за слово за такое, почему? У нас вон долго—Господь Бог,—а у них «Хот», да и все... Силу свою чуют...

— Хоть ты меня убей, а зачем лягушки на свете живут,— не знаю... Будто французы лягушек ели, а как в двенадцатом году у нас пожили, выучились, что грех... Может, и есть еще где дикие люди, что лягушек жрут, только я не верю...

— У нас вот: англичанин, француз, итальянец,—самые хорошие все народы. А у них кто? Австриец,—тот-же немец, только дерьмовой. Турок,—драться здоров, слов нет, только за человека его и считать-то грех. А теперь вот Болгар с им в союз вступил,—этот совсем сволочь...

— Разве-ж я знаю, чего в поляке плохого есть?.. Я того не знаю, а больно вежлив... Мужик серый, а уж так вежлив, просто душа в кулачек сжимается... Хоть-бы дурнем когда приголубил, и того нет. За..., заспан, а все—пан, да пан...

— Очень-бы мне хотелось, чтобы румыны с нами противу немца воевали, хороший больно народ. Меня всегда из Новоселиц за спиртом к им за Прут посылали. Ночью подойду, через речку вплавь, а они на середке лодкой выедут—и тебе и табаку, и водки, и чего душа хочет... А раз к себе увезли и такую бабу предоставили, что назад-то еле собрался... Чуть было дезертиром не стал...

Исходил я целый свет,
Аккуратней немца нет,
Как он рану заполучит,
Сейчас ножки подкорючит
И приляжет на песок
На положеный бочек.
Он четыре раза охнет,
А на пятом разе сдохнет,
Все чтоб в самый аккурат,
Уж такой он супостат...

— Я в его целюсь, не знаю кто, а сильно желаю, что-бы немец был. Целюсь с сучка, долго примерялся, и выстрелил очень успешно... Повалился—не пикнул, и немец оказался... Здоровый, как бык...

— Я ненавижу врага до того, что по ночам снится. Снится мне, лежу будто я на немце, здоровый черт, и убить не дается. Я до штыка, он за руку. Я до глотки,—он за другую. Не одужить, да и только! Я ему в глаза пальцами лезу, глаз продавил, да дырку к мозгам ищу... Нашел, да давить... А сам всей кровью рад, аж зубы стучат...

— Нас на худое нет труда подсыкнуть. На жидов же нашего брата, ровно гончих, выпускают. Гони да тявкай, да казенный хлебушка чавкай. А тут особенно понятие нужно иметь. Евреи народ древний, у них сила в уму, и книги есть старые. Не даром Господь Иисус Христос у евреев явился. Через тот случай урок христианам. А то, напускают со своры, ровно, что в хилости еврейской вся вина, и злу нашему потачка...

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Пришел он к ночи. Места незнакомые. Изба такая большая; сенцов разных—гибель. Провела его старуха: «спи», говорит. А он ей, обрадовался, что до лавки дорвался, да шуткой:— «Чтой-то, баушка, на бабу потянуло?!» Сказал, да и спать было. Да не тут-то было, старуха к ему под бочек,—«Все равно, говорит,—хоть и стара, а баба». А у него с устали-то и на молодую охоты нет... Так старуха-то—«Постой, говорит,—с...с. Я тебе отплачу!» Дунула на него бабка, и стал он будто бы из своей шкуры лезть. Лезет и видит—лежит его тело белое, словно покойник, глаза заведены. А он лезет, и все его будто ветром от тела от его относит. А он будто, вроде как на веревке какой, на долгой. Говорить не может, и так ему страшно, что на лавке то он помер, а его к дверям тянет. И окститься забыл как. Ну, тут старуха веревку эту как потянет, его словно ожгло. На лавке прокинулся. В горячке домой-то привезли. А чего бы убыло, переспал бы с ведьмой, здоров бы и был...

— И еще про ведьму. Я с под Яранска. У нас, как бабе за сорок, так и ведьма. И был там один такой человек, что баб в ведьмин чин производил. Старый—старик ведун. Неграмотный, а библию ровно газету читал. Все как есть наперед предрекал. И войну вот эту знал загодя. Так наши ребята раз подглядели, как он из бабы ведьму сделал. Пришла к нему соседка за яйцами. Он кур хороших водил, так все у него бабы под клушек выпрашивали. А ребята к окну. Пошептались те, пошептались, и стала баба с себя кофту сымать. Сняла, да по пояс голая и стоит. А дедко баночку из печурки вынул, да в ней чего-то пальцем взял, да бабе груди и вымазал. И стала та баба по избе бегать, да овцой блеять. А потом в дверь, да во двор, ревет! Ребята со страху драла, кто куда. А на утро мужу все и рассказали. Не

стало житья той бабе, бил муж-то походя. А про которых не знают, вредно те бабы живут.

— Ведьма все может. У нас при фабрике никаким чертям воду нет. Фабричные то сами себе черти настоящие. Так и тут бабы ведьмуют. На ткацкой у нас вся бабья округа работает. Что челнок, что язык,—гул стоит. Так там молодки одну бабу за ведовство убили. Пришла раз, говорит:—«хотите бабочки, я вам глаза отведу». А они шуткой—«ладно»! Так ведь что вышло-то? Все молодки, как одна, видят,—не снуют челноки, стала работа, тишина, и над машиной туман тянет. Опомнились как, на смерть убили. И поделом...

— А то тоже, у нас бабу молодую свекровь поедом ела. Однако, ничего, бить била, а бабенка здорова была. Так другое горе, муж-то ейный, старухин сын, сохнуть стал. Да до того скоро, что в месяц один в щепу ссохся. Боли никакой, а сохнет и сохнет. А мать все на молодку,—«ты, говорит,—ядовая, его сушишь». И слез-то, и беды... Пошла тогда молодайка к ворожее бабе. А та ей и говорит: «Это на тебя бабья порча пущена, да ошибкой на мужа и пала. Спусти-ка ты колодезь, с которого воду берешь, тут все и видно станет». Бабочка братов взяла колодезь чистить, а свекруха, просто из себя лезет, лается. Да уж тут не до нее. И как выпустили, так в тряпке мышь завороченную нашли, вся истыканная.

— На все такое нужно слово знать. Говорили,—дед у нас знаток такой был—совсем знахарь. А и того бесы задушили. Дожил дед до 90 годков без малого... Другой бы, пособоровавшись, да и в труну. А наш-то самое-самое разжился было на свете, что выдумал, старый ведун. Взял с под стрехи долгую жердь, ополночь на погост вышел, у могилы стал, на крест честный плюнул, жердь в могилу сунул. Сам крутит, сам приговаривает: «верть, ферть, переверть, в малое во время скачи бесово племя на мою на жердь!».

И полезла, посыпала по жерди из могилы-то пакость всякая. Хлопочут округ деда. Тот было только стал бесам приказывать, чтобы молодым наново заделали, да как вспомнит, что слов-то обратных не знает, ужаснулся, да и драть с кладбища. А нежить за ним, плачет, в пекло просится. А дед слова то и не

знает! Задушили его бесы. Нашли,—синий весь, глаза выкачены. А бесы до самых страстей по селу баловали, все дороги домой не было.

— Я над рекою лягу, а по над озером, или где вода стоит,—ни за тысячу не согласен. Был со мной случай. С бабой своей повздорил, в село к кабатчику за водкой сходил, да на обратном пути над озерком эдаким пристроился. Баранкой закусываю, и на бабу чертей пускаю. Подпил, и заснул до самого месяца... Выкатился месяц, я глаза продрал, смотрю, по воде как-бы круги идут... Словно рыбка играет... Ну рыбка и рыбка... Ан не рыбка, а людские образы зеленые, безо рта, с глазами выпученными... Смыкают образы круг, и словно на стебле, из воды тянутся к месяцу... Стебель тонкий, словно струнка, а образы, как подсолнухи, поднялись над водою, глаза закаченые... Понял я, что смертные это образы...

— Среди ночи проснулся, смотрит, в окошко рука тянется, пальцы долгие... Потом пропала. Он окно затворил, помолился и опять спать стал. А ополночь в оконце стук-стук. Знает он,—нечисто место, перекрестился, а смотреть не стал. Только слышит, открылось окошко, егозит что-то. Не вытерпел, глянул, а в головах человек стоит, неживой. Все кругом, хоть глаз выколи, а тот весь виден: синий, рот раззявленый, язык изо рта болтается, глаза заведены. Тут одна стала дума—только бы в очи не глянул! Помер бы с ужаса, сердце на всю избу стучит. И, видит, наводит тот глаза слепые свои, все не туда, все не туда... Сколько время прошло, словно в пекле... А тут урочный час,—завыло и сгинуло.

— Ведьма... да вот у нас баба одна с чужим мужиком жила. А потом, тот от нее в сторону. А как в сторону, так и стал болеть да сохнуть. Доктора смотрели, давали лекарства—не помогло. Пошел к знающему человеку. Тот говорит: «Коли бабу обидел, это она на тебя напустила. Самая это бабья порча и есть. Пойди, попытай». Тот бабу запопал, да бить. Так, стерва, призналась. С им на три пути пошла, да на перекрестке землю разрыла, и мужика того сорочку из под каменья вытягла. С той поры поправился и живет.

— Смерть не увидишь, а то не признать. Теперь думаю, она все поблизу ходит, где ж ей и быть-то... А слышна бывает. Раз заснул я, а на меня кто-то холодом дышет. Прокинулся, никого не видать, а слышно удаляется, и при кажном шаге охи слышны..

— А я смерть видел. Стоит середь поля очень высокая да сухая женка. Лицо платком черным прикрыла. А голову подымать стала, сама не шелохнется. Взгляду ейного не дождался я, ужаснулся...

— Отбился я малость, гляжу, прогалинка светлая, посередь ее шалашок, и лопата к ему приставлена. В шалашке на лавке седой монашек. Прибрано, присмотрено, а и весь тот домок— корове меж рог. Попросил я. Встал дедко, водицей сладкой напоил, хлебца дал и в путь покрестил. Вернулся я, рассказал, все пошли. Верно, стоит шалашок и лопата при ем, да только в нем путного ничего нет, — одна труха, да помет мыший.

— Самый мой страшный сон был,—стоит, будто, тихая деревня. Ни трава не шелохнет, ни души живой не чуть, ни пылинка не провеет. Не на земле, словно, а за смертью где-то далече.

— В старину жизнь шла иная. Народ, особенно мужики да бабы пожилые, все знали, всему смысл видели. А мы чуем, что не без толку вещь есть, а что в ней—не понять. Вот, хоть бы эти цветики, маки алые, что промеж заграждений к солнцу растут, не спроста цветут,—не за себя только к небу тянут... Может, и за воинов молитвы несут... Дедушки бы знали... А то чуешь, а не тверд толковать-то...

— Да что бы тебе лучше то сказать, про Бога Господа нашего. Не может того быть. По всему видно—есть Господь. И по красе, и по думе по нашей, и по силе, и по слабости человечьей. Очень глупым быть надобно, чтобы Господа Бога не заметить.

— Ведьмы есть, крест приму на этом... Иду край села, в девятом из конторы вышел, в уме чаи-кофеи, и ничего страшного. Шасть под ноги собака, незнакомая, белая и пятна по ушам... Думаю, приблудился пес. А всего-то и любил я, что

покой свой, да охоту... Я за собакой побег, чья такая, думаю... Хороша... Цмокаю, и все клички перебрал, не оглядывается и хвост под зад зажала... Она под амбар, я с другой стороны, а из под амбара-то Арина лезет... Запыхалась вся, аж парная, словно ее псы гоняли... Платок белый, и на ем при ушах пятна... На нее давно подозренье было...

— И предстал он на тот свет. Седые стоят перед ним ворота, ржавыми замками замкнуты. Таки ворота да замки велики, думкой он не осилит, как за те ворота попасть. Стучит рукою своей смертною, голос ворота подают, ровно воробей по крыше проходит. Так и стоит тот человек перед дверьми, через все века, и знать не в силах, что за воротами-то, рай аль пекло. Недоверкам Господь такое наказание придумал...

— Чего это смех берет, как с ног свалился, упал ненароком. Это уж больше всего от диавола. Нету бесу пустяков, на всем души ловит. Сперва тешится, как сусед лоб расквасил, а опосля и сам тому делу потатчик. Нету пустяков на свете, ото всего беречься надо...

— А ты не над этим думай, и не осерчаешь. И об нас Господь печется. И нам радости есть простые. Самые они настоящие. От солнца да звезды, от добра—да от ангелов. Того сам не придумаешь. Не кали души завистью, а на округ себя любуйся, да Господа за житье благодарствуй...

— В тот лес горшки, что упокойников обмывали, кидали бывало. И много там костяники и грибов родило, да никто собирать не хотел. Сказывали, что и зверь и птица туда помирать удалялись. Смутный лес был. И в сухояр над ним туман курился, и тленом тянуло. Ночью и мимо-то ходить боялись... Голоса слышны были, а кто слышал, долго после того не заживался...

— Косой, он еще не самый худой человек. Ему, перед насветорождением, и бес и ангел дары кажут. Он и на добро, и на худо заглядится, глаза-то и раскосит. А самого худого не отличишь. Разве, по взгляду черному такому. А глаз прямой.

— Середь лесу крест, могила чья-то. Присел я, жути не чую... Полночью, заклубился туман под елями, пополз туман по мне холодом, взяла тоска сердце... Все горе свое вспомянул... Видно, тяжко помер, что в могиле середь лесу схоронен... Много скорби принял, знать, коль и мертвый тоску вокруг сеет...

— И вошел в избу невелик, сер человек. Лицо у него темное, да сухое, а глаз острый. «Я, говорит, по душу приду, когда сам позовешь. А теперь, на вот тебе яблочко. Как с'ешь его, так и живи наново. Только помни. Учить я тебя ничего не буду, смерть же твоя через меня только быть должна. Прощай»... Да и сгинул. Трясется мужик, на яблочко глядит. Думает, эдак я до скончания света проживу, а уж сам не покличу. Да и с'ел яблочко. И стал молодой будто, и красивый, одет нельзя лучше, денег полна мошна. И начались его мытарства с того дня. Сперва-то, все порастрясти боялся, и золото, и силу, а потом, как увидел, что деньга-то у него неразменная, он и пошел себе разные сладости доставать. Сперва только брюхо свое, да похоть тешил, а потом, мало того стало,—мучить да убивать начал. А после то, душа опала, сладость уж и принять нечем. Чернее ночи жизнь его пошла. Только что дьяволу на зло, душу то берег. А дошел до последнего, смерти и покликал. Пришел серый к ночи, забрал душу, да во ад до скончания века...

— Душа, по моему, не у каждого человека бывает. Ты вот что мне скажи, кабы Резников помер, разве-ж мы-б коло такого покойника чего испужались?.. Ни в жизнь... У него жизнь идет, что трава растет, а в гроб ляжет, только что... перестанет...

— Да, другой человек трудно душу от тела отрывает... Он томится, томится, пока смерть ослобонит... И не то, что хворый какой, а жизнь такому,—гиря тяжкая... Все не по нем, все он чего-то людям винен, а как отдать, и не знает... Вокруг такого душа долго ходит, людей ужасает...

— Это тоже, как которые помирают. Он и глаз завел и дышет ровно мех кузний и пот-то с него, и синий, как Адам, и скрежет и стон-то. А чувства такой ни к чему не имеет. Это у него тело без души от смерти отбивается. Жить тело разогналось, а душа-то уж отлетела, чувств-то и нету... А у которых душа—

до смерти при теле, те помирают с разумом. И с родней даже прощаются. А о душе уж подумавши, тихо и помрут.

— Я смотрю, мышь из угла вылезла. У меня голова котлом, с болезнью-то. Подошла мышь, села и смотрит хитро. Я сестрицу кличу, а мышь сидит. Сестрица подходит, а мышь тихо к углу пошла. Да не по своему, а нога за ногу ставит, ровно лошадь. И ростет, и ростет, а в дыру лезет маленькую. Словно тесто проталкивается. Зад толстый, а потом в кишку вытянулась и влезла. И смех и грех бывало, пока тиф не прошел...

— Заблудился брат мой, парень лет осьмнадцати. Корову в бору искал и, кто его знает, как до дальней пущи добился. Только корова сама пришла, а он дней десять плутал и чудным вернулся, все молчал. Месяца два слова от него не добились. И работал не по старому, словно и умом и силою сдал. Как отошел, так сказывал, что большие страхи тайные лес имеет, коли человек выход утерял.

— Сила, это от Бога, до времени. Цветет дитя в колыске, с материной груди силой полнится. Подрастет—землею кормится, все силы добирает. Работа доспела, силой взросшего дополнила. Тут время назад клонится, убывает сила человечья, вся в разум уходит из косточек. А из разума — старости опять та сила смертью земле ворочается...

— Он и просит: «Господи,—говорит,—залей тот костер, пусти ты меня на землю, научен я теперь, наново жизнь проживу». Только стух огонь и земля разверзлась. Выскочил он на землю кубарем, да с разгона-то память отшиб. Наново такое в новой жизни чинить стал, что опосля смерти ему костер-то втрое развели...

— Стал он ко гробу, руку протянул, «невинен»,—говорит... А сам глаза закрыл... Только слышит, шум, топот, суета по церкви и крики... а потом, словно после грому, тишь настала... Раскрыл глаза, матерь пречистая!.. Вплотную стоит перед ним покойник, кровь из раны его хлещет, а в церкви только они двое... Ужаснулся народ, разбежался... Глянул злодей мертвому в очи, и помер...

— До села они только уж ко всенощной добрались, и все прямо в церковь. Отстояли, темно уж. Куда ночевать проситься стали. Старуха старая их догнала, к себе зовет. «Идите, бабы, да идите ко мне ночевать, я в избе одна живу, и сена вам натаскаю, и хлебушка дам». Бабы с радостью. Сеновал она отперла, сена они взяли, на пол набросали, да и спать. А старуха на печке легла. Только ночью, стук кто-то в окошко, а потом дверь рвать. Бабы спрашивают, всполохнулись. А старуха «цыте» говорит. Только слышат дверь отворилась, пришло что-то в избу, к печке, заслонку отворяет, ухватом горшки шевелит... А потом в амшенник прошло, да там хлопочет... А потом опять в избу, и на печь скребется, лезть хочет... Тут стала старуха голосом молитвы читать, и бабы за ней... Сорвалось с печки, не долезло, зубами застукало, да в дверь, да со двора, в окошко бряк... Тут петухи, и сгинуло... Старуха и говорит, «то невестка моя, с месяц как удавилась, руки на себя наложила, ходит еженощно»...

— Стонет. Я подошел—лежит, глаза закрыл. «Что ты?», спрашиваю. «Помираю», говорит. «Придет доктор, поможет». Не поможет, говорит, как говорит, надо мной даве сестра нагнулась, я смотрю—матушка покойная. Знаю что сетрица, а матушку вижу, это за мной». И верно, в ту ночь и помер.

— За мной тоже матушка покойная приходила, да я недался, выправился. С того часу, как привиделась, и стал я с хворостью бороться. Больно напугался, что смерть грозит. Стал все думать да приговаривать: поправлюсь, мол. И поправился. Смерти только воли не давай, два века прожить можно.

— Не раз, по моему, человек на этом свете живет. Сны-то видятся, бывает, такие, что ровно на своем дворе, в каком-то чудном краю живешь. Да еще и не раз, не два такой сон видится, а почитай еженощно. На картинках, и то не сразу такое уразумеешь, а во сне там, ровно рыба в воде...

— Взяла она жабу молодую, зеленую, щепкой проколола, перед хлебами в печь сунула, а потом хлебы постановила, и ждет. Ждет-пождет, как раскрылась заслонка, вышел мал-зелен человек и спрашивает:—«чего тебе, баба, надобно, что ты мне жабью кровь на хлебном на пару скормила»? Обомлела баба, а

потом с духом собралась, не пропадать же работе,—и говорит, так, мол, и так, покуда млада была—репку жрала, а теперь совсем без сладости век коротаю. Ну, зеленому, коли заворожила, спорить не приходится, насажал ей зубов. Смеется зеленый,—ты бы еще Господа-батюшку ради репки с постели бы сковырнула... Бабе все дела в одну мерку сдаются...

— Подсолнух перед войной все от солнца ворочался. Не глядит на солнце, да и все... Не одно такое чудо войну предвещало. У нас псина здоровая ушла, пропадом пропадала, а как пришла—щенят принесла. Все кутята, как кутята, а один—чисто заяц. Весь как есть...

— Сел под деревом, ждет. Идет девка белая, волосья долгие, да зеленые, ровно трава луговая тянет. Она идет, а за ней луг туманом плывет. Глаза у нее, ровно звезды, сквозь туман светятся.

— Вот скажу, что это за покон веков за такой. Еще до веку пришел грозен потоп. А прошел людям тот потоп, пришел тогда и векам покон, время зачалось... Вот это что...

— Дунул господень ангел на букашку, и сели на букашку ту алые крапины. Помни, мол, букашка, ангеловы алые уста. Это вот божья коровка верно и есть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



— Будь баба добра да почетлива, на чужого мужика не завистлива, детям матка заботливая, хозяюшка порядливая, до Господа Бога усердна, до мужа жена верная...

Как пошел я на побывку
Во родной домочек,
Получил тогда гостинцев
Цельный коробочек.

Два годка жены не видел,
А брюхата ходит,
За атласным подолом
Байстрюченка водит.

На отце мои порточки,
На братьях рубахи,
А работаный домочек,
За должок у свахи.

Эх, я дома не хорош,
На войне я воин,
Что мне немец, что мне вошь,
Коли я спокоен...

— Дорогое это было удовольствие. Взял я денег и лошадь,— Европа кобыла,—и вышел я на рассвете. С'ездил по суседям, нет жены! На примете же я никого не имел, никто до нее особенно не добивался. Круглые сутки я ездил, и сколько я плакал, тосковал. А через три дни всплыла она на пруде. Так вот, верить трудно, легче мне стало, хоть и любил я ее без памяти. Уж очень я от незнания своего утомился, и ревность грызла. Как всплыла, в ту ночь впервые заснул я...

— Именья своего последнюю долю за девку отдал, протратился, прожился, репейником пристал, наскрозь истлел и отощал.

— Окромя платка да бус ничего я дома и не дарывал. Разве еще пряничком прикормишь. А тут такую моду завели, что только за звонкий рубль, да еще и рубля мало. Пойду в лазарет холоститься, у меня жалованье-то не офицерское.

На войне солдат в охоте
А все бабы слабы,
А в деревне на работе,
Так не надо бабы.

Расцелую я Аксинью,
Обойму Марусю,
Дам Аксинье платок синий,
А Марусе бусы...

— Что ты со мной торгуешься, коли любишь, так и будь моя на век. А то,—буду ли пить, да буду ли бить, да буду ли чужих девок любить? Не веришь сама, без разуму всякого, значит, не жалеешь, не надобна мне...

— Молодым больно женили, и так мне баба не поправилась, взненавидел просто, бил походя. А оброс бородой, стал я к бабе привержен. Да только поздно, забил и закричал. Не шла на ласку и померла вскоре.

— Сказку буду сказывать, про чудо лесное.—Шел мужик лесными путями, берестяными лаптями... Долго шел, аль коротко, только стоит изба меж елей, без окон, без дверей.... Стук-стук, дай кости согреть, не на печь, так хоть в клеть... «Ты кто будешь, что меня, чудо лесное, будишь?.. Я чудо, ни добро ни худо. Меня, чудо, понять, в руки золото взять»... «Вот-бы мне чудо, что бабу, залучить... Чудо, а чудо... Я мужик здоровый, и до тебя готовый. Приходи на ночь в клеть, до света буду петь... И солено, и сладко, и с краю, и в накладку... До самого до красна, пока заря ясна... [redacted] Пришло чудо в клеть стал мужик чуду петь... А утро пришло, чудо в избу ушло... Осталась золота охапка, только сам-то мужик,—словно тряпка. ..

Дома Марью я оставил,
Здесь другую Марью справил.
Эх, Арина хороша,
Любит ночку без гроша.
Уж я ситцу, я батисту,
Любит девку здешний пристав.
Я баранок, я платков,
За мной двадцать дураков.
Уж ты девушка красотка,
По всему брюху чесотка.
А я парень—молодец,
Погубитель я сердец.

— Баба, что блин, бела да кругла, тем и мила. Моя баба в три обхвата. Ей детей рожать, что цветы сажать. А ума у ней не требуй... Письмо увидит, так до того испужается, что мокро под ней... А раз, я ее с пьяных глаз, иконой клясть почал. Так ее три дня потом бабы отливали, не в себе была...

— Эх, любил я баб до войны! Одно слово, сахар... Так-бы как петух, каждую-бы бабу подтоптал... А вот, как ногу отняли, нечего ус крутить... Глазами мнешь бабу-то, а уж пока приспособишься! Порченый...

— Я ее долго улещивал, не далась баба. Стал я ее очень уважать, себя так соблюдала. И теперь решил я так, вернусь, на ней женюсь, с детьми возьму за уваженье... Мужа ейного на прошлой неделе под Ракитном убили... Женюсь, верная баба...

— Девка к себе меня очень манит. Тем хороша, что я у ней первый, и все ее тайны, окромя меня, знать никто не может. И еще, что она нашего брата не знает, и потому об нас хорошо думает. А что слаще она бабы,—так это еще я и не согласен...

— Одно на свете верное, баба. Ничего ты от ней ждать не приучен, окромя сладкого. А сладкое-то от тебя от самого. А другого не ждешь, и обману нету...

— Толком пишу письма, а не ласковые. Чего ласкать-то, коль знаю, нехорошо она себя блюдет. Ну да ладно, доберусь ужо, все припомню. Красоту-то поиспорчу малость. Послать-бы ихнего брата сюда на мытарства, может какую ни то совесть и разыскали-бы... А то жиру бабенка нагуляет, а посбить его не кому... Вот и бесится...

— Просить? чего уж! Толку нет просить, не поймет, знаю... Бить—жалко до смерти, терпеть—силы не стало. Вот и ушел на войну. Да кабы сразу, а то, в город вышел,—она за мной на другой день. Плачет, в ногах лежит, клятвенно зарекается... Ну я веры не даю, мучался сколько. Все перетерпел... Здесь легче...

— Пошел к ворожке городской, за целковый она ему счастье навела. В тот же год женился он на бариновой потаскухе, и стали его и барин и потаскуха по щекам лупить. За то и водочка, и селедочка, и домок и садок,—ну, словом, счастье.

— Кто говорит, что девке потому невольно, что больно, а мужику все в прохладку, потому что сладко.... Я как первый раз с бабой спал, чуть рук на себя от стыда не наложил... Все мне до того тошно, и баба сама, и дух ейный, и сам себе. Срам до греха... Вот-те и сладко.

— Замуж она за меня не больно охотой шла, с другим до того любилась и мне про то сказала: так, мол, и так,—бери коли хочешь. Я и взял, и почал с того часу душой болеть. Бить стыдно, знал ведь, что брал. А и не бить не в силах. Развязала меня война эта.

— Жизнь бабья тяжкая. Девкой тятька бьет. Замуж пошла, пока из девок-то в бабы переведут, что мучается. А бабой стала, заботы достала. То с брюхом кряхтит, то ребят родит. А и муж, пьет, аль не пьет, а бабу бьет...

— Сколько я разов зарекался с бабою сходиться. Ну, взял ее, а потом ногу в зад—и довольно. Так ведь вот, не такая душа у нас. Хочется, чтобы у тебя под боком теплое ворошилось, да свое, да надолго. Вот и заведешь себе погань. Да уж лучше кота под бок, этот хоть не продаст.

Тут бабью какое счастье,
Что стоят пехотны части.
Пехотинец без каприза,
Что ни баба, то суприза...

— Выгнали, негде голову преклонить. А не уйти-то нельзя, девичье тело нежное, побоев не принимает. Так и пошла она по рукам. Обмяли ей мужики тело-то, так теперь ее поленом не выгонишь.

Цельный месяц с тобой бился,
Да на печку напросился.
Как за то ты мне постыла
Что меня ты допустила.
Да по что ты мне мила,
Коль себя не соблюла.
Прокляните мать-отец,
Возьму чесну под венец.

— Арина девка на диво, за двоих работала. Сама румяна да гладка, теплом веет, во все зубы смеется. Чисто весной яблоня.

— Закружилась у меня голова, а тут еще он подскочил, и давай меня на какую-то девку валить. А кабы не было вина и приятеля, сам бы ни за что не осмелел. А ты говоришь—просто. Просто—коли раз со сто, а впервой смерти страшнее, право.

— Выскочил, побежал, пар валит с меня, нитки сухой нету, дождь по лужам шлепает, мзга до костей. А как увидел я ее с горки, ну взошло мое солнышко, никакой непогоды не чую, в душе жаворонки поют. Один только, единый разок и любил я так-то...

— Диван голубой, и по нем цветы розовые. Десятку на толчке дал. Так обрадовал, целовала горячо, продажная душа. А без подарку и не суйся... Не такая душа бабья... Она того жалеет, кто кошель имеет... А коль без гроша, так и сокол—вша...

— С Машей у меня большое горе вышло теперь, на грех я домой ездил... Писал, что еду, а они не получили. Тридцать

верст от чугунки, лошадь нанял, вечером приехал. Окно светлое. Гляжу, Марья сидит, и с ей рядом какой-то чужой. А руку ей, между прочим, за пазуху засунул, и так спокойно сидит... Душа оторвалась, хочу разразить, а разум держит... Я в окно стук... Она так спокойно встала, видно все уж знали, давно такие порядки завелись. К окну подошла, рукою от лампы прикрылась, присмотрелась, да как задрожит... А у меня такая радость от ейного страху, аж трясусь весь... Отошла, на хахаля смотрит, глаза круглые, а делать что—не знает... Сказала, он бежать... А я ее смертным боем бил, да утром в город уехал, все деньги девкам прожил...

— Что ты мне врать будешь, про чувства про какие особенные. Сам женатый. Знаем, как мужик под венец-то идет. Одну любит—другу в жены берет, одну голубит—другу походя бьет. Вот тебе и все наши чувства. Пока мы богатеями не заделаемся, не будет нам от венца, да добра конца...

Как я вспомню про деревню.
Аж душа ломается,
В той деревне моя женка
На работе мается.
Как я вспомню про деревню,
Аж рука зачешется,
В той деревне моя женка
С мужиками тешится...

Будь Арина, будь хоть Фекла,
Будь малина, будь ты свекла,
Будь ты ключик прохладной,
Будь ты дворик проходной,
Будь хоть лужа при дороге,
Пехотинцу только б ноги...

— Ноги у ней маленькие, да в чудных полсапожках. А руки, четыре в одну зажмешь. Сама до меня тулится, будто нечаянно, а у меня нутро играет. Здоров был, и до женского полу охочий. Полюбил я ее, так зажалел, нет мне никого милее. Вот и слюбились мы. Хожу я, ровно чадной, только об одном и думаю. Что ни скажет, что ни сделает, все любо. А тут

враг попутал, надошел я не во время, с учителем ее застал. Не верю я теперь; и нет для меня добра никакого. Все дрянь...

— Уж как я женился, и стал, что ночь, с женкой спать, понял я бабью сладость. Только за работой и живешь, бывало. А как в руках дела нету, только что переминаешься, да ночьки дожидаешься. Так душу не сберечь, бабий яд крепкий...

— Эх читать я люблю... До того приятно, себя забыть можно. Инда ночью мечтается, что я де не я, а Рыцарь Роберт храбрый. И что это не мне без очереди дневалить, а будто это я к даме своей лезти собрался, и мужа ейного стерегусь. Только вон, как в зубы кто в'едет, тут-то уж я никакого рыцарского примера не подберу...

— Бывает так, только что хорошее с тобой приключится, письмо получу из дому, что все мол в порядке, здравствуют, да кланяются земно,—душа отпустит, и пошел думки думать, да грехов набираться. Нет, человеку душу иметь нужно тугую, притянутую, чтобы об одном душа думала, только так и греху не быть...

— Должны по закону запрет сделать бабе сердце военное рвать... Я дрожу, боюсь за нее, попрекает стерва, и хахалем грозит... Какой я царю воин, коли баба меня за сердце письмом вяжет... Что там письма смотрят, революцию ищут, лучше бы язву бабью искореняли...

На войне не штык беда,
А беда есть злая—
Что ни бабия,
То болезнь гнилая.

Анамедни я милую
К свому доктору водил,
Он со свечкой пригляделся,
И меня благословил.

У иных милая
Вся наскрозь гнилая,
А моя миленочка,
Словно крепка елочка.

— Что говорить, за для глупости только женился. Ты посуди сам: бабу, на мужика ласую, всегда найдешь. За пятачек—стерва, а за платок—так душенька... А что та, что другая—все баба, б.... продажная. А жена, только что дороже станет, да еще круглые сутки около лотошит, да пакость разводит.

Только с месяц жена люба,
На второй брюхата.
Как такую приголубишь,
Брюхо ровно хата.

Не на то мальчик женился,
Чтоб с хатой ложиться.
Заведу себе другую,
Буду веселиться.

— Уйти мне не пришлось. Дошел 90 верст до Орла и в дворники за хорошие деньги подрядился. Живу честно, работы много, да легкая работа. И пища верная, сыт всегда. Хорошо... Присылает письмо; дифтеритом все трое заболели, и в больницу забраны... Бросил хозяина, назад 90 верст отмахал,—к выносу поспел... Отстрадались на утре рано... В ту же ночь с Марьей спал, и опять с дитей ходила, как на войну я шел... Горе горем, а на бабу охота от слез-то пуще...

— Не надобно-бы о плохом мечтать, грех и вредно... Я теперь, кроме женского пола, ничего во сне не вижу... И все, будто, мне мешают, то не хочет она, то я не мог, то стрелять стали, а то такой сон снится. Ходит здоровая баба по хате, все паружу. И я в чем мать родила... И так до нее присыпаюсь... Согласна, будто, баба, пристроились на лавке, все как следует... Вдруг лавка к небу... А я думаю, только-бы мне свое поспеть, давно бабы не видал... А лавка к нам в деревню, да к жене в избу нас и предоставила... В ангельском-то виде!.. Жена меня с бабы кочергой сбила...

— Иная баба как до мужика тулится,—ведьма. Сразу ото всего отошьет, жена опостылеет, ни до дому ни до думушки. И на вино не тянет. Слово знают.

— Не слово это, а есть у той бабы особенное. И взглянет не как все, и повернется не по всякому. И смеется по другому. За эдакий за смех на степу полезешь. И кто ее только учит...

— Глупостей я знаю много. Вот дед, жил-жил, да на тот свет и угодил. Все у него отвалилось, только... и остался... Он бабу искать, нету, у бабы свое место. Он в земле дырку провертел, да землю и стал любить... Да еженощно... Сладко деду, и забот нету... Только через девять месяцев, лезет из земли махонький человек, вылез, сел и говорит деду: «Здравствуй, папаша... Умел родить, умей и кормить, умел петь,— умей и терпеть». Вот те и без заботы...

— Не девка, а кобыла, на каждый сучок ржет... А та светла и мила, да достать не дала, вот и сменил соху на блоху...

— Она гладит да ловко так. Руки у ней белые, локотки полные, сама гладкая да веселая. Я ее и слапал, а она меня и двинь. Да таким утюгом горячим, что противу его жару мой-то не выстоял.

Укажи ты мне святого,
Что бы женск пол обожал,
Я б на брюхе пред иконой
Цельный божий день лежал
Я б молился, не отстал,
Пока б гладку бабу дал,
А то просто невтерпеж,
С одиночки пропадешь...

— Коли ты мне хлеб дашь, дай и бабу... Человеку здоровому, что без хлеба, что без бабы,—жить невозможно!..

Союзнички на войне,
Некому плодиться,
А француженки одне,
Не с кем веселиться.

Погодите, француженки,
В гости к вам прибудем,
У всех девок перешим,
Баб не позабудем.

Вот когда пойдет житье
От того союза,
От нас русская порода,—
Новые французы.

— Видел ли кто добра от жены. И ждать ничего не ждешь, а все обидно душе бывает. Пока баба новая, не притерпелся к ней, так хоть сладость есть. А как притрется все по мерке, так только ейную глупость, да душу пустую и видишь. Нету у бабы ни веры, ни разума. Только страх, да мыши в голове...

Худых девок да старушек,
Бережем мы для братушек.
Мы братушек в плен возьмем,
Пусть их любит ночью-днем.
Немчуре дадим по росту,
Что ни девку, то коросту.

— Любила она меня не знай как. Пока люба была, терпел любовь ее, а опостылела—хуже побоев считал, взненавидел. Все темно стало, на зло жить начал, иссох весь. Уйти надобно было.

— Ах, бабы обманные. Хуже нет, как еще и болезнь от ней... Я одну себе снял, баба что печь, ни червоточинки. А на другую неделю меня в срамную палату отправили... А как ее бить-то пришел, она и говорит,—«А ты меня о чем спрашивал?.. Как кобель молчал»... Оно и правда...

— Околдовал старый чорт Марфу. Я ее улещиваю, бывало, и того ей, и этого—все, вижу, не мило. Сама сухая стала, и жаром от нее пышет, узнать не узнаешь. А потом пришла до меня, руки в боки: «выдь, говорит, вечером за околицу, к столбу, правду увидишь». И увидел я, каков крепок старый пес. Я поленом, а они меня бить. Да в те поры, она ко мне и не вернулась, с тем живет. Спаровались, словно голуби. Ему то шестой десяток, а ей двадцати не было...

— Зашел я к нему в трактир. Сидит за прилавком, рожа у него над столом, ровно самовар стоит, красная. Не верю, тот ли. Говорю, здорово. Узнал,—садись, гостем будешь. А тут женка его вышла, красота. Я на нее от зависти и позарился. Не для ради любви отбил, а по злобе. И бросил легко. Баба меня сама николи не возьмет, только ради мужика, что при ней. А то, хоть бы и не было, ровно животное несмышленое...

—

— Я на нем мундир расстегнул и портрет дамы одной нашел... Вот он это и есть. Не только, что красива, с собой ношу... А жаль мне ее, сироту горькую... Грел он ее сердцем-то, а теперь, вот, я ее жалеть буду...

—

— Зовет меня: «вот, говорит, тебе письмо. Пойди за угол, что коло церкви, там барышня дожидает, отдай. А ответа не надобно, не бери». Пришел я, верно, стоит девица, собой красавица, заплаканная, ждет. Письмо взяла, я уходить, а она— голубчик, возьми ответ—и плакать. Я зажалел, взял цыдульку. А принес, вздул меня барин за письмо, за слезное. Она плачет, у барина печенка пухнет, а у меня морда на сторону. Нету и слезе для людей добра...

—

Мамка замуж выдавала,
Голубину кровь давала,—
Как ты ляжешь перву ночьку,
Вылей крови на сорочку...
Как я к мужу-то попала,
Целу ночьку проскакала,
Так-то с милкой сладко было,
Я про кровь-то и забыла.
Муж на утро дознался,
Колошматить принялся.
Цельный день меня он бьет,—
Любит ночьку напролет.
Ты дери меня, дери,
До вечерней до зари,
А с вечера до утра,
Моя сладкая пора...

—

— Уйди, говорю, нет мне от тебя прибыли никакой. На что ты мне. Кабы любил я тебя, все другое было бы. А то, только представилось мне, что любовь я до тебя имею. Ни пить я не бросил, та же муть в голове, ничто мне не мило, никакое тако солнце на жизнь мне не светит. Только что ты, а не другая какая. Обманут я...

— Я очень красивый, бабы льнут, что пчелки до цветка. И я им не отказчик. Только все жду, что по другому будет. А то, что такое, ровно псы, али коровы. Принюхались, и пара... Может, что еще и будет, мне двадцати трех нету... На что нибудь и красота нужна... А то, что сахар в чай...

— Зачастила она в избу нашу и все коло Петьки трется. Тот перва-то поругивался, а после привык. В сенцах, бывало, визг да возня. Скажешь бывало, смотри Петька, уж коли Господь тебя с девкой другими фасонами на землю пустил, тут дело сурьезное, тут не до игры. Смеется. И доигрались, ходит девка брюхата, а Петька-то наш женатый, ежеденно в избе свара.

— С мужчиными товарищами пьет, песни поет, со всяким смеется. Ну, словом, кабы моя баба себя так соблюла, быть бы ей без кишек. А тут, она—хихихи, а он—хахаха. Разве это муж? Петух, так и тот честь свою бережет.

— Я ей писал одно, не тоскуй,—вот и выучил... Разве бабья душа понимает? Она то по тебе убивается, то другому ноги моет. Не хочется о своей так рассуждать, она мне детей принесла... А так приходится думать, что баба, как вещь бездушная, что ты в ее положишь, то и есть в ей...

— Наглядел я себе шубу-кожушек. Цена подходящая, я домой за деньгами. Женка не дает: «в старой говорит, походишь, не барин». А старая-то шуба хуже черта лысого, облезла, через волосок—скошеный лужек. А жена, коли ей не по нраву, до тоски заговорит. Ну, я молчу , а ночью к ей в укладку за мошной. Ухватил, идет кошель, да не один, за собой все добро тянет, так это сучья баба приспособила. Ну и наслушался я тогда слов! Всю зиму жучила, аж жарко было. Только тем и грелся. А шубы не купил.

— Ладно, говорю, согласен я на ней браком жениться, да не все ли тебе одно, раз я с ей спал, али сто раз»? А он мне, с..с.., говорит, а это я хочу, чтобы она тебе боком вышла». Коли на ночь, так любая в мочь, а коли до смерти, так бери меня черти.

— Запечатал он письмо и говорит,—я уйду, а коли она придет, скажи, что я для нее письмо оставил,—и пошел себе. Немного погодя прибегает она, веселая. «Что, мол, Петя дома»?.. Я ей про письмо. Запела она—не гони лошадей—и в комнату прошла. Вдруг как закричит. Я к ней, она на полу и письмо в руках. Я отливать, не отдышалась, и доктор не помог, померла. Письмом без промаха.

— Месяц выкатился, лежит дядя, голова у него под лозой. Лица не видно, и то слава богу... А брюхо горой раздуто, и под брюхом, в... месте, раки шевелятся... Тетка до него кинулась, голосит-причитает, ревет белугой, а раков рукой ловит... Чего зажалела!..

— Мать я и теперь жалею, а что жены, так хоть бы и не было... Как я сам здесь, что ночь, то новая, так и она там путаться может. И там наш брат без ног, без рук, а все... друг.

— Меня за что бабы любят. Я какую угодно строгую улещу. Да и девку испорчу, очень даже легко. А все потому, что ласков. А наша баба не привыкла до того. Приманю ее смехом, а как привыкнет, я с ней, над ейным горем, и поплачу. Тогда и бери ее руками голыми, вся твоя...

— Женатый, он человек настоящий, у него плоть сытая, не балует. А холостой,—болт туды, болт сюды... Ровно язык колокольный под юбками болтается...

— Мы на баб насмотрелись здесь на разных. Сказать что смелы очень, это верно, только смелость-то ихняя от глупости больше. Вот в Каменце шпионка в крепости в турецкой посажена была. И жених ейный там же смерти ждал. Так ведь что, пустая душа, придумала, перед смертью-то. Щипцы все просила, да краску, чтоб волосья перекрасить. Это, как вешать

то их станут, так жениху чтоб покрасивше быть. А тому, не то что на невесту любоваться, разум собрать не в пору было, со страху-то. А баба, та все об одном. Не на дело баба смелость свою тратит, хвалить не за что...

— Смотрит Адам, тянет солнышко из земли стебель белый. Тянется стебелек, а цветок на том стебле бел и румян. Очи лазоревые, коса по плечам золотая, нрав легкий, голос—слаще щебету птичьего и словно котенок ластится..

— Приглядел я тут, братцы, девченку одну. Вот только не добью никак, чьей она веры. Коли нашей—сватать буду. Слова я с ней не молвил, а глядя по соседству на глаз ее быстрый, на поступь бедовую, да как она коло всякой работы управляется—порешил сватать.

— Женился один такой, глаз быстрый, поступь гордая. Заглядепся один такой, а оглох, голоса ейного не прослушал. А в голосе том собаки со всего села гавкают, эдакого голоса никакой работой не выкупить, на смерть заговорит.

— Как блеснет ей в глаза крест, на все, говорит, согласна. Получил я удовольствие, назад иду, а взводный меня в зубы... «Откуда крест»?.. Господи, что мне было... Сколько за бабу наш брат муки принимает...

— Один разок вернулся он до времени, и запопал батьку с бабой своей под тулупом. Так оглоблей по них по обоих через тулуп перетянул сколько-то разов, а потом, для сраму пущего, народ собрал. Однако, никто очень-то не посмеялся, очень уж перекалечены были.

— Спохватился я, ан поздно, села она мне на голову. Ни к приятелю, ни в кабак, а уж к бабе какой, ни боже сохрани. И привык я этак до хорошей жизни. А померла, растерялся я. Тут вот други нашлись, да так тешить стали, что пьяницей я и заделся...

— Я не долго к жене честно был. Сперва разговоры земляки такие вели, что и смех, и грех. Соблазн большой, а бабы нету. Зашли раз с холоду в халупу, натоплено, хлебом тянет... Бабы две старые... Во чужем во краю, и с рябой что в раю... Одну и сговорили... Такая старуха крепкая...

— Эх, личико девичье, красивое. Не похабные оно дела творит. А напротив того, душу мягчит. Эдакая ягодка, как усмехнется, только что доброе и делать хочешь. Всем бы одарил, а уж худого, так только что себя противно станет, за пакость за старую, за какую...

— Приду, бывало, в больницу к ней, такими она глазами поглядит, насквозь всю душу проберет. Словно винен тем, что здоров. А и в мыслях у ней того попрека не бывало, только, бывало, приголубливает. А глаза—те свое говорят.

— Приходил к нам в село тальянец один, с камнями, да с резной разной всячиной. Красивый, хоть и черный, как жук. Очень наши бабы на него заглядывались, да и он на них. Бывало, только и слышно, что коло какой ни то юбки сопит. Сбил он старостину дочку. На поре была девица, судьбы ждала. Он ее и взял, ровно грушу спелую снял. Ушла с ним в город. А через год вернулась с младенчиком, сама худая стала, да все плачет. А тут еще ее и мать и отец колачивать стали. Придушила она своего тальянчика и в прорубь зимой ушла...

— Забежал он на минутку и видит, сидит девица очень тихая, и светленькая такая, как раз ему по душе. Поспрашивал, хозяйкина племянница. Сейчас присватался, девица согласна. И до сих пор живут душа в душу. А другой девку облюбует, да еще и спит с ей сколько-то годов, уж кажись наскрозь узнал. А женился—ведьма.

— Дурню, так тому все равно, что раз, что сто, толку не доберет. А умный, тот сразу наскрозь видит. Да только, братцы, не вижу я что-то умных по бабьему делу. Какую бес сунет, ту и берем. .

— Я работал в поле до темка, очень притомился, на снопе прикурнул да спать. Ночью—тепло под боком. Я рукой, девка лежит... Ух, сердце запрыгало... Я до ней притуляюсь,—ничего, я ее ласкать, не противится... Потом больно мне узнать хочется, чья такая?... Я тихонько спичку вынул, да чирк... Красивая, и совсем не знаю. Ни в нашей деревне, ни на селе, такой не видывал... Глаза черные, строгие... Встала и пошла. Я ее за руку держу, не до-сыта целовал-миловал, не допустила больше-то... Я за ней. Цыганская телега на дороге, старуха сидит, и ребятки малые, словно жучки... Мужиков никого... Моя-то влезла, ни разка не взглянула, да по лошади... И ушли все шагом... Словно приснилось...

— Хворала она, хворала, а здорового к здоровому тянет. Связался я с другой. Опротивел мне дом мой, жаль жены, ничем невинна. Как жаль, сказать не могу... Ни разку не попрекнула, а что знала, не сомневался я... Взгляду ейного боялся... Все она молчала, до самой смерти...

— Сестер я, да братьев, совсем не любил. Однако, как старший, заботу держал. Особенно, как в девках сестры сидели. Одна так до сей поры безмужняя, а двадцать четвертый пошел. И красивая, ну ни к чему ее не приневолить. Маменька над ней до устатку билась, из синяков девка не выходила... Нейдет, да и только... Один умен, да рыж, что морковь. Другой красив, да глуп, что репа. Третий богат, да лыс, что редька. А тот и богат, и умен, и красив, да, что лук, сердитый... Ей, что мужик, что фрукта огородная... Так и продорожила. Теперь, верно, за хрена, за старого пойти придется... Из огорода бабе не вылезти...

— Спуску только не давать. Как этому выучишься, хорошего много проживешь. Я теперь как куда попаду, ничего просить не согласен. Все приказываю, или сам беру... Вот я в Опришены попал, все забрано, дома загажены. После нашего брата грязно бывает. Взять нечего, кровати и те порублены, земляки кашу варили. Так я себе бабу взял, толстую... Три дня за собой водил, тешился... И с взводным делился, что табак, что баба... А потом побоялся, отпустил в поле...

— А я только любовь-зазнобу узнал. Другой такой нет на целом свете. Умильная, тихая, слова зазорного не знает, всякую работу подымает, и глаза черные, ровно жуки...

— Я на нее в церкви, как глянул, так душу ей и отдал. Домой шел, все она представляется. В тот час решил, что сватать только ее согласен. Стал хитрости выдумывать. Отца уломал, а мать затаилась. Женился. Мать-то ее поедом по сю пору ест... А мне, с другой бабой, что на печь,—что в гроб лечь...

— Гудок прошел, я в ворота. Смотрю, идет, на меня не глядит. Приказчик к ней. Она хвостом вертит, а от него, аж пар валит, такая им друг на дружку охота... Взялись об ручку, пошли, я за ними. Они в чайную. Я ввалился, грому наделал, «отдай жену», кричу... «Бери, говорит, вот она, вся твоя. А только завтра расчет»... А мне расчет не в расчет, ребят двое... Смирился, шапку разодрал, да не на ём, а кровную... Ушел из чайной-то, в кабак... Да кабы воля, и посейчас-бы так...

— Говорит, я тебе теперь ничего больше невинна; что и было, то забыла, другой владеет... Такое говорит, вредная баба... Нету злее правды...

— Эх, ловкая шельма, вижу, что не мне одному кровь полирует, а споймать ее не могу. Ругаюсь, бывало, а она говорит,—ты поймай, а то не замай.. И вышло не очень приятно. И ей всю вывеску испортил, и себя попустил до того, что по сю пору, как вспомню, сердце в смоле горячей кипеть зачинает.

— Не век же ты с бабой сидишь, а бабе свободного места не вытерпеть. Сейчас она кого ни то и пустит. А ты тому радуйся, что коли ты с ней на печь, так уж другому негде лечь. И то ладно...

— Выпила она малость, и такое озорство учинила, хоть мужику в пору. «Ах, ты, говорит, такой сякой. Очень ты мне нужен. Что я тебя, до этой облизяны завидую, что-ли? Нет того. А только, как вижу я, что ты ко всякой бабе жмешься, абы чужая, да новая. На то сердце мое горит, что из за тебя, никчемного, душу я свою черню, и старость слезами тороплю»...

— Вот теперь, что я хоть все рассказать могу. Послушает кто, одно только мне и осталось... Баба моя красивая, а как ноги отняли, вот как на нее злоблюсь, думаю ей зла всякого... А пуще всего, рожу ей попортить желаю... Красивая Евлампия, моя, я и здоровый был, руки-ноги целы, в порядке мужчина, а очень ее беречь приходилось... Зарился мужской пол, и она на всякого глаз наводила... А теперь ничем она в беде моей невинна, только простить мне никак невозможно... Решил я домой не вертаться, а писать, как-бы я целый, только к ей, за характер ейный ехать не хочу. Пусть до смерти грозы ждет, и меня целого помнит...

— Всего-то и было в ней, что бант на башке. А сама, словно вожжа, зацепить зацепит, а коли не сдержать, так только что хлещет, да путается.

— Вот бывало, маменька моя нежна была. Житье-то и бедное, и тесное, а она нам, бывало, по избе-то солнышком светит, и греет. Встанет с зарею, да перед полем-то и покрестит и поцелует, рожу смоет, и чего у себя урвет, а уж в рот сунет. А подростать стали, с отцом из за нас войну вела. Мала да худа, сама в кулачек, а такие побои выдерживала,—не хуже клячи ямщицкой. Все вынесла, а нас и грамоте обучила, и в люди вывела. Одно только и было у меня хорошее,—мамаша моя... Царство ей небесное...

— Для хозяйства лучше всего мамашу держать. Мамаша старенькая. Отец-то, коли не помер, так либо пьет, либо бьет, либо на печке кряхтит, да на ейный хлеб роток дерет. Так такая-то старушка при сыне, словно в раю будет помышлять. Только что не бей. Будто пес устережет; а что и с'ест, то выробит.

— Вот не знаю, как такая подлость по ученому зовется, чтобы так про матерь рассуждать. Ты словно зверь бесчувственный, только о теперь и дума вся. Разве мать то тебе за собаку приставлена. Да ты, крещеная душа, то рассуди, что и на свете то тебя без нее не было. А кто тебя в церкви Богу передал, а кто от себя последнее срывал, да тебе в пасть твою ненасытную

совал? Все мать же. Так ты ее покоить должен, а не то что горькой ее долей пользоваться, да за собаку при добре держать.

— Глаза закрыл, терплю, про себя приговариваю—маменька, мамонька,—и как будто легче мне под то слово. А целый-то я, почитай, иначе как в матерщине матери и не поминывал.

— Он детей не жалел, не болел за них. А она всю тяготу несла. Оно завсегда жизнь бабья такая, да только, на грех, умнее она прочих была. Недовольная жила, сердце свое калила. Вернулся он к вечеру, да деньги доставать на карты стал. А середняя дочка, на те на деньги, учителя ждала. Она ругаться, она плакать, а потом руки на себя и наложи, к утру. Со зла больше....

— Мы мать любили, и никакого ей горя не хотели. Отец, пьяница, изобьет ее, бывало, до красна. Богу я молился, поскорее вырасти. «Постой, думаю, с... с.., узнаешь, каково маменьку за косы таскать». А вырос,—запил... Сперва-то меня и отец, и маменька колачивали, а сдужел, отца набил, да грех такой, и до матери добрался... Вот те и заступник...

— Мать горюха завсегда. Была древняя матерь, сынов ее убили, одного за другим вороги загубили. Слезы повыплакала, кровью стала по последнему плакать. Скорбящая она была матерь, скорбящею и звалась. Тоскою та матерь всю землю исполнила. До спокон веков материна скорбь набольшая...

Стала матерь выть-причитать:
Вернись, глазок ты мой ясный,
Вернись, свет ты мой красный,
Вернись, ветер мой дольный,
Вернись, сокол мой вольный,
Вернись, цветик весенний,
Вернись, сын мой последний...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТЕНИ НА СТЕНЕ.

«МОРСКОЙ БЕС».

ОТЦОВСКАЯ.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Ученик, Бес, Учитель —все пальцы.

АКСЕССУАРЫ: 10 пальцев и 3 шапочки, тут же скрученные из бумаги.

Ученик. Ребятушки, беда-горе!
Как пришел я, мальчишка, на синее море,
Тут бы мне и баклуши бить,
А учитель велел книжку учить...
Реву я, реву,
Просто и не знаю, как еще живу! У...у...у.

Бес. Ты чего, ученик, горюешь?
Разве ты меня, Беса, не чуешь?

Ученик. А ты кто такой?

Бес. А я Бес морской,
Ничему я, Бес, не учуся,
Никаких я грехов не боюся,
Все сам знаю, все сам умею,
Всякое дело я, Бес, смею.

Ученик. Ох, врешь, врешь, все это как есть небылица;
Не бывают взаправду такие лица!

Бес. Да хоть бы и не взаправду, а нарочно,
Вот он я пред тобою, такой точно.

Ученик. А чего тебе, Бес, здеся надо?

Бес. А буду я тебе вроде клада,
Уж я за тебя потружусь...
А ты, как вырастет, отдай мне первый ус...
А то такой уж я босой, просто обидно,
Да и перед ведьмами нашими все будто стыдно...

БИБЛИОТЕКА № 23 Н.К.Ю.

Вот я за усом и полез из моря.
Говори ты мне свое горе,
Помогу я тебе и в ночь и в день.

Ученик. Ой, Бесушка, учиться мне больно лень!

Бес. А ты не учись, брось, со мною уж какая учоба.

Ученик. Да брось, попробуй, вон идет моя-то хвороба!..

Учитель. Ага! Это ты, ученик Григорий,
А какое такое вон это самое море?

Ученик. Ой, ай, море это самое... оно... это...
Ой, Бесушка, помоги, не взвидел я света!

Бес. Вот дурень, говори—море соленое,
Да большое, да синее, а не зеленое.

Ученик. Море, оно того, соленое,
Да большое, да синее не зеленое...

Учитель. Сам ты дурак большой известный,
Только что не соленый, а пресный!
Не ученик ты, Григорий, а чистое горе.
Ну говори, что такое есть море?

Ученик. Море оно того, ой, Бесушка, беда!

Бес. Вот дурень, говори,—море это рыба да вода.

Ученик. Море, оно такое, что все рыба да вода.

Учитель. Не ученик ты, с...с.., а чистая балда!
Задам я тебе, Григорий, вопрос,
А как не ответишь, подставляй тогда нос.
Скажи-ка, ученик Григорий, какой есть на свете самый злой вредитель?

Ученик. Это, это... ай, Бесушка...

Бес. Говори дурень—учитель...

Ученик. Злой вредитель,—это учитель...

Учитель. Ну ты, Григорий, как есть остолоп,
За это подставляй не нос, а лоб,
Может, и будет тогда из тебя толк,
Вот тебе, Григорий, щелк-щелк...

Ученик. Ой больно, ай больно!..

Бес. Полно, брат Учитель, довольно.

Учитель. Ба, это что за богомерзкая морда?

Бес. А это я же все, Бес морской, вроде черта.
А вот за то, что ты Григория ученика мучишь,
Да путному его ничему не учишь,
Задам я тебе, Учитель, с‘езжу,
Верхом на тебе маленько поезжу.
Прыг! Скок! Но-о! Поехали! Прощай, ученик Григорий,
Повстречаемся у этого моря.
Приходи-ка ты сюда, как повырастет ус,
И я на это самое место вернусь:
На ту пору и сквитаемся,
А пока, Григорий, расстанемся.
Замест учобы, округ себя получше гляди, в этом самый
й есть толк.
Ну, но, пошевеливайся, Учитель, вот тебе щелк-щелк!
Поехали
В село Орехово!..

«С БАРИНОМ ТИХОЕ ПРОЩАНИЕ».

ОТЦОВСКАЯ.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Барин, баба Ариша, Мужик.

Барин. Здравствуй, красавица Арина,
Хорошо, что ты на улицу погулять вышла.
Как будешь ты, Арина, до меня приветлива,
И до всякого дела сметлива,
Подарю я тебе алый платок,
А не то, так заплатишь оброк.
Как в губы—так куплю бусы,
А как в зубы—так до всего добра доберуся.
Вот давай-ка я тебя обойму,
Тогда все это дело хорошо и пойму.

Баба. Ой, батюшка Барин, не замай,
За белые за руки не хватай,
А то мужа своего скричу,
Он тебе и задаст харчу.
Будешь ты тогда, Барин, и пьян, и сыт,
По всем по статьям будешь избит.

Барин. Да твой-то муж больно плут.

Мужик. А вот он я, муж, тут как тут.

Барин. Есть ты самый ледащий мужичек.
Заплати мне сразу весь оброк,
Сведу у тебя я последнюю скотину,
Коли ты мне не отдашь жену свою, Арину.
Больно уж мне твоя баба мила.

Мужик. Эка, воля-то, Барин, ваша, да моя сила.
Давай со мною, Барин, биться,
Кому с моею бабой ложиться.

Барин. Не хочу я с тобой, Мужик, драться,
А хочу с твоей бабой целоваться.

Мужик. Вот ты и выходи ко мне на левое плечо,
А потом и расцелуешь бабу горячо!

Барин. Да ты меня забьешь, да смучишь,
Мне с твоею бабою куда лучше.

Мужик. Да оно, конечно, с бабою сподручней.
Да только я с того дела стану скучный,
А чтоб стал я, Мужик, довольный,
Вздую я тебя, Барин, пребольно.

Баба. Да и я, баба, еще подсоблю,
Задам таску эдакому кобелю.

Барин. Экие вы черти босые,
Да разве ж я вас таких осилю.

Мужик. А чтобы стал ты, Барин, дюжее,
Вот тебе, Барин, по шее.

Барин. Брось, брось, собачья порода,
Не такого я, Барин, рода.

Баба. А чтобы стал ты, Барин, бояться Бога,
Намну я тебе, Барин, да оба бока.

Барин. Вот ядовая баба эта Арина.
Дерется как драгун, а с виду картина.

Мужик. Наложим мы тебе и в хвост и в гриву,
Такой станешь хороший, просто диво.

Барин. Брось, Мужик, брось, Баба, ей-богу, больно!
Да ну вас в болото и с бабой-то, с меня предовольно.

Мужик. Ну вот и дело,
Беги теперь смело...

Вот тебе, Барин, тихое прощанье в твой барский зад.
Беги-ка ты домой, да и живи на свой лад.
На перинку ляг-ка,
Да и спи себе мягко.
Жри сладко,
С..и гладко,
Весь день белый
Ничего не делай.
Одно твое дело — в книжку читай,
А уж наших мужичек не замай.
Твои-то барыни больше при розе,
А наши бабы при навозе,
У твоих барынь ручки белы,
А наши бабы при всем при теле.
Накось
Выкуси!

«ДВА КАМРАДА».

СОЛДАТСКАЯ.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Немец и Русский.

Немец. А, шки, шка, ши, шкот.
Русский. Вот усищи у тебя, чисто кот.
Немец. Камрад, Камрад.
Русский. Ну, знаю, что рад.
Немец. Ах, хаб, гав, ам.
Русский. Ладно уж, хлебушка дам.
Немец. Ой, збу, лбу, дбу.
Русский. Ага, это он, трубку чтобы ему за губу.
Немец. Ох, мбы, лбы, вбы...
Русский. Ну уж нет, брат, какие уже здеся бабы.
Немец. Ой, швах, ах, швах.
Русский. Эго он, что он-то босой, а я в сапогах.
Немец. Эй, пат, ваш, хат.
Русский. Это, он, мол, сыт, так пора, мол, и спать.
Немец. Ах, от, бот, хот.
Русский. Ага, это чтобы помолиться, на тебе крест-то, вот.
Ну братцы, прощавайте,
Нас лихом не поминайте.

Это мы теперь с немцем друг-дружка обоймем,
Да и спать пойдем.
Война войной,
А всем нужен покой.
Что лук, что перец,
Что русский, что немец.
Все спать-то радешеньки
Ну, братцы, прощайте, о-хо-хошеньки.
Пойдем брат,
Камрад!

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Лежит зарезанная девочка, годков семи, руки, ноги отняты, обок ее в платок заворочены, кровью под печь наслежено. Он туды, мальченку оттуда выволок. Волченок чисто, глаз горит, волос дыбом, в крови вымазан. «Твое дело»?.. Мое!.. «Как так»?.. Игрались, бумажку какую то не дала, брыкалась и царапалась, он ей руки-ноги топором и поотрубил... Не во всяком дитяти человек...

— Деревня Волчиха, леса глухие. Семь дворов. Близко фабричный городок, десяти верст не будет. Как есть Волчиха, зимой волки кругом. Даже ребят задирают.

Бабушка Секлетея у многодетной дочки около ребят жила. А ребят осьмеро, а отец—пьяница фабричный. Все Волчихинские такие мужики. После дачки субботней пьяным-пьяно, на деревне всех баб да детей переколотят. Грудных и то не минуют. Стон стоит в субботу-то. И Секлетеин зятек не хуже людей был. И жену и бабушку тиранил, места живого не было. Один раз перебил он Гришку, сынка своего пятилетнего, пополам. Тот до самой смерти не разгинался, месяца полтора... Как умер, бабушка Секлетея мизинчик левый у него сняла, да пьяному отцу в каше и скормила. Сохнуть стал, перед войной осенью помер.

— У нас девочку одну маленькую дедко пьяный приспал. Наехали следователи. Так до того соседи засмеяли, до того семейство дошло, что просто на улицу хода не стало...

— Детей в наших местах, словно грибов высыпет, вод им. А корму мало, да и пьянство кругом дикое.

Почитай на десяток один выживет, да и тот юрод.

— Я вон, как сюда гнали, так на станции Нерченске сколько-то времени жил. Так чиновник один туда на станцию пьянство-

вать приезжал по праздникам. Как приедет, сейчас ребятишек соберет, и давай их водкой поить. Еще в водке хлеб намочит, да ребяткам и скормит. Перепьются дети, кто плачет, кого рвет, а чиновник рад. Девченок разденет, безобразничать учит. Одного мальченка до смерти опоил. Так заплатил матери четвертной билет и опять за то же.

— Была у меня жена, вот как я ее уважал. Баба по всем статьям хороша: и верная и рабочая. Попустил Господь, померла. Двоих ребятишек оставила. Взял я к им вдову, да с ней и связался. Да и то, при нашей жизни деревенской, никак невозможно. Все, почитай, под одним тулупом спим, кровь-то играет, не перестарок. Ну, вот это так ведьма... Слова не промолвит, все с криком да бранью... Детей до того докричала, ровно чужие ходят. Голоса не чуть, одна баба на всю избу раззоряется. Я было бить—куда тебе! Так стерва двинула, вижу, не заступа я деткам. А тут война, я и ушел. Жалко ребяток...

— У меня соседка вдова. Пятеро ребят, мал-мала меньше, а работница-то одна она. На селе баба при мужике—володарь, а вдова—голодай... Что ни работа, все промеж рук. Холод, голод. А тут пошли наши ребятишки горлом мереть. Так вдова то эта горемышная, где помрет младенчик—туда своих несет, да на покойникову подушку и сложит всех, чтобы зараза взяла. Да не судил Господь, ни один не помер, А по селу-то почитай, в каждом дому плач.

— Голод выучит... Я вот дитё при дороге спящее ограбил... Спит дите, чье не знаю. Никого по близости. Ихнее потерялось. Замученное, спит при дороге, и хлеб под головами... А я хлеб взял, сперва разломил... А потом подумал, не помирать-же бородатому... А в дите жизнь легкая... Да весь хлеб и унес...

— Нет мне лучше, как дитею был, по грибы ходить бывало. Соберемся ребятки, все с позаранку, с туманом в лес-то вкатимся, а к солнышку лукошко полно. Хлеба пожуешь, все леса пробредешь, на душе, ровно птицы поют. Места у нас,—грибово царство, где-где только гриб не лезет. Мокрый, и по шляпке травинка, а то красный, что кровь. Дух от него, словно нутром

земным тянет... Ночью-то на палати влез, глаз завел, ан гриб в глазу... Всю ночь ищешь...

— Что я детей порченых здесь перевидал. Жиденка одного, так забыть не могу. Почитай в час один его солдатня кругом осиротила. И матку забили, отца повесили, сестру замучили, надругались. И остался этот, не больше как восьми годков, и с им братишка грудной. Я его было поласковее, хлеба даю, и по головенке норовлю погладить. А он взвизгнул, ровно упырь какой, и с тем голосом драла, бежать через что попало. Уж и с глаз сгинул, а долго еще слыхать было, как верезжал по зверьи, с горя, да сиротства...

— Девочка у меня хороша, ни в мать, ни в отца... Мать-то с замужества самого, почитай с 17-ги лет, запойная... Отец ее, Сидор, такой-же был. Девочка Машенька родилась. Грудную Арина била. Не в себе, ревет, бывало, а девченку почем зря, всей рукой бьет. Я отымал, как дома был. Вот грех, бывало, ни работы, ни охоты... Все прахом идет... Машенька-то по третьему годку читать выучилась, по картинкам... Хорошо читала. И такая была непохожая, маленькая, ласковая, всякую букашку жалела... Теперь на выданьи. Телеграфисткой была, да мать наскандалила пьяная, выгнала. Руки на себя наложила, выходили в земской... Жалеет ее врач наш, учить собирался... Что с ней теперь,—не знаю...

— Вон и эта и эта девченка, все это такие. И кто это таких берет, не скажу. Вон той годков девять, не больше... А ну, подь-ка, подь, не бойся... Стыд-то есть?.. Эх ты, тощая... На вот тебе полтину, теперь деньги дешевы... Эх ты, Акулька... Бетя? Имя тоже... Вот ты, Бетя, мало ангелу своему молилась, вот тебя, Бетя, и обидели... Иди себе, малая... Война, война...

— Принял я яблочко, а сам свое думаю, как бы не понравиться. А барчук и спрашивает,—ты няня моя будешь?.. А я, знай, зверем смотрю, и так мне за это перед дитятей стыдно, а что поделаешь. Я и деньщик-то не больно ловкий, в горнице то я, что шмель в стакане,—а уж при дитяти, так кроме мордобоя никакой мне и цены не будет.

— Вот страх-то я как впервые узнал. Годика три мне было, что-ли, сижу я в траве, палец сосу. И вдруг это на меня по щечке жук ползет. Ах ты, силы светлые, до чего мне тот жук страшен, чернущий, большущий, усищами шевелит, лапы мохнатые распялил, на меня глаза свои пучит и голос гуще грому подает. Да на меня, да на меня, по сю пору страх-то помню.

— Пшеница, что ни колос, то богу слава. Словно трубы архангельские. А по пшенице солдатики убитые лежат, и наши, и ихние. Свежие, еще духу нету, больше полем на тебя тянет. А промеж убитых дети бродят, потерянные. Баба как бежать надумала, сейчас она грудного на руку, а малого за руку. Малый отобьется и по хлебам потеряется. Все двухлетки, да трехлетки. Красивые ребятки у них... А уж до того напугавшись, что и плакать давно забыли, голос пропал... Словно столбняк у них. Рожа-то в грязи да слезах присохла. А у кого и кровь, побились что-ли... Мыть их да кормить сестры стали. Молчат, ровно куклы какие... Только уж верст через десять отошли, опомнились что-ли, реветь начали... Детям плохо...

— Бывало, дитятей лежу и через тулуп на лампадку щурюся. И чего-чего, каких только солнышек, да звезд ясных не увижу в том свету, через шерстку тулупью. А теперь вон и настоящего-то солнца не вижу, за маятой военной.

— Подобрал я его на саше, через ругань какую я его подобрал, сказать трудно! А вез я его в седле 18 верст до дивизии. Так, так я с им подружился, отдавать дитяти не схотел. И товарищи согласны были: псов, так и то водим, а тут душа без призору брошена. Ну, начальство досмотрело; оно чувствам нашим не потатчик...

— Забежал раз к нам мальчишка чей-то. «Возьмите, говорит, батрачить». Мальченка подлеток еще, годков десяти, не более Ну и работяга был, взрослому не добрать. Раньше всех встанет, двор углядит, скотину обрядит, воды наносит, дровец наколет, печь вытопит, когда и обед варит. До поздней до поры без присесту мается, с петухами встает. Лег он как-то с лошадьми, да в ребячьем крепком сне ему мерин грудку и продавил. Помер к ночи, схоронили, так и не узнали—чей.

— Девочка-то заботная, хозяйка будет, целый день по избе егозит. А мальченка чудной. Хорошо грамотен, целый-бы день за книжкой читал, да рисунки бы рисовал. Игры же не играет, крестьянскую работу из под кулака делает, хоть и покорный. Думалось, в город бы отправить, там такие нужнее. А у нас не помощник.

— Наши-то ребята стоят, словно дубок. Не очень гни, сломаешь. А городские мальченки—чистая лоза, гнется по ветру безо всякого вреда. Город, он те кости то умягчит, не поборешься.

— У меня братишка по семнадцатому году помер. А годков с пяти хворый был. Мамка его прибила, гусенков двое задавил, она его и сломала. Все сох, да сох... Вот этот так умел скучать. На печи мы с им вместе спали, середь ночи разбудит, да тихо мне и скажет: «Сидор, а Сидорок, кошки мое сердце рвут, так скучаю... Что я, горемычный, с собой делать стану, как выросту—горб ведь у меня». Заплачет, да так всю ночь, до утра... Горькую скуку терпел...

— Отцовская доля не легкая, коли с понятием ребят ждешь. Надо обо всем заботу иметь. Я вот думаю все, как бы деток до ученья приспособить. Грамоте обучу, а дальше-то я наук не знаю. Верить же никому не могу, как учить. Батюшке я не верю: живет блудом и все стяжает, а других ученых и не знаю...

— Остался я сиротой по восьмому годку, отдал меня дяденька к сапожнику. Вот, жизнь-то была, смех вспомнить! Круглые сутки побои, да совсем не кормили, об'едки подбирал. Так, бывало, и говорят, сам добудешь—сыт и будешь. И воровать-то не выучился, и неколи, и негде. Собачили меня так-то до четырнадцати годов, в темноте безграмотной, да в голоду-холоду. А в четырнадцать с товарищем мальченкой утек босячить. Жизнь узнал, и, почитай, впервые солнце приметил.

— И винен не был. Река у нас по весне пошла. Гром идет... У нас река сурьезная, пароходы ходят. Вот пошла река, тронулась по раннему утру. А я в баню на слободку ходил, иду назад, слаб после полка. Слышу, кричат. Смотрю, два мальченка с ледка на ледок швыряются. А ледки, словно стружка на огне, заворачиваются... Дяденька, пособи, родненький, пособи...

Ну как я пособлю, коль свою душу беречь охота... Не пособил... Тут народ сбился, галдят-кричат, потонули мальченки...

— Вот есть черные народы, у них как ребята при вдовце малые останутся, сейчас их убьют. Это чтобы на тот свет чистыми душеньками отошли, да и на этом не мучались. Там мать-то, при таких порядках, спокойнее отходит.

— Когда будет как по хорошему всем людям житье устроено, и господам и рабочему человеку,—будут особые дома понаделаны, для сирот. Приюты не приюты, а ровно бы родимый домок. Какая женщина дитяти лишилась, та в тот дом добром идет, и безматерных сирот и учит и голубит. Есть и книжки про это.

— А по мне ребятам все едино как жить, плохо или хорошо. Что он ревет, да плачет, так то видимость одна. А самое-то дело что душа ребячья непритомленная. Всякое горе слезой смоет, и только радость одна. Что теленок, что лошенок, что кутенок, что дитенок—все молодь, солнышком живы... А житье как,— то плевое.

— Я больше всего сердце на детей имею... И своих и чужих. Ну ничего я детям простить не могу. Сделает сынишка не так что-нибудь, беру его за шкуру, и чем он больше кричит, тем больше сердце на него имею. А уж если выдираться начнет,— убить просто готов. Один раз даже судили. И когда бью мальчика, так чем больше бью, тем хочу больше бить... И всегда до крови. Как кровь пойдет, тут мальчишка весь белый станет и только дышет. А крику нет: тут и я стихну, будто после бани хорошей.

— Одно слово, стерва ты рваная. И заметил я, братцы, что не на здоровый это разум детей бить. Толку нет. Бывало мальцем нашкодишь, так одна молитва—«коль батя не выпорет—того больше делать не стану, только пронеси Господь, а коли выпорет батя—так уж я с досады натворю!» Чего смиряться-то, недоброе дело ребят мучить.

— Отец мой многодетный был, я осьмый, да по мне две девченки. Трудно было, пареньком бывало, на работе зарезы-

вался. Еще света не чуть, до петухов бужусь около скотинки в хлеву засну. Сама, бывало, Красуля бережется, как-бы ребячьи руки—ноги не поотдавить.

— Я так его жалел, лежу в казарме, а думка к нему летит. Что с ним, да как живет-растет... А письма наши, известное дело, чего не надобно никому, то и написано... Одно слово, «до земли поклон низкий»... Правильно, что до сырой до земли... Читал я читал, да и дочитался только на третьи сутки, что Мишутка долго жить приказал... После поклонов-то низких, да еще кланялись...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пустили, и стал я смотреть зверей и птиц разных. Красота на свете несказанная. На птице перье, ровно радуга небесная, и глаза у ней, камни самоцветные. А звери таки есть, верить трудно. Вот тебе лев, царь зверей. Округ народ стоит, по пустому любопытствует, а тот лежит, не шелохнется, глядит скрозь тебя, ровно ты место пустое. Свое что-то видит, непохожее. Сила чуется под шкурою, такая, ровно сталь литая, и тишь его страшная...

— Не только что слова знала, а просто в глаза глядя, все наскрозь, бывало поймет. Как кто пьяный, так хвост под зад да и за дверь. А коли тверез, да в добром духе, так в ногах юлит и даже к рукам прибивается без страху. И так это она все хорошо определяла,—ни разу ее ушибить не пришлось, хоть и пили всей семьей.

— Иду лесом, темно, и холодно чего-то, хоть и лето на дворе, и звезды чистые. Иду, пожимаюсь. Собаченка по за кустом скулит. Я цмокать, слышу, к ногам жмется и скулит. Я ее поймать норовлю, не дается стерва. Слышу, что махонькая. Я ее ловлю, добра ей хочу, скулит и не дается. Я так, я эдак, вертится, стерва... Я притаился, да как хвачу ее прикладом, да еще, да еще. И пошел дальше...

— Как я знаю, что в животном души нету, так, значит, и смерть ему причинить не грех, каяться не в чем. Скотинке времени на прожитье не надобно, грехов-то отмаливать не приходится. А оттого мы к животному такую жалость имеем, что душа человеку большая дадена. Ему все по плечу: на камень бездушный, и то души той хватит, вот и жалеешь...

— И у нас много зверья жило, но такой умной собачки не было. Как, бывало, придем, так такая собачка тонкая, по лицу

узнает, кому обида была. И прямо до того и ластится, и ластится. Здорово животное через это страдало; человек в обиде, хуже зверя...

— И кота приучить можно, только от кота ничего особенного требовать нельзя. Только, чтобы гладкий был, да песни пел, да брюхо грел. Что кот, что баба, все едино...

— Зайченки из зайчихи, в мешке таком лезут... Вроде, как-бы рыбий пузырь. Как мешок вылез, так лопнул, и зайченков в стороны, да вверх... Так они прыгать-то и научаются. И все прыгуны так, и блохи...

— Я змей страсть боюсь. Я как-то на братана, играючи, веткой размахнулся, а на той на ветке гадюка привесилась, да мне за пазуху. Я и обмер на долгий час, в горячке пролежал. С той поры и боюсь.

— Сука в глаза глядит умильно, задом крутит и голос тонкий подает, повизгивает. Кобель, тот куды гордее, разве что смилуется, от любви носом в руку ткнет.

— А и кот не сладость, особенно коли черный. В черном коте чертям самый вод.—У него зуб костяной, коготь роговой, глаз огневой, голос жабий, а норов бабий. Целиком в пекле вылеплен.

— Зайка серый—трус, беглец. У него вся душа в пятках, оттого он и быстрый такой.

— Один глаз у ней желтый, другой голубой, сама словно лебедь бела, шерстка на ней легкая да долгая, за ушами бант цветной. Лежит на подушке, песни поет.

— Голубей я не очень люблю. Птица—видом с иконы будто. А приглядишься,—глаз у ней красный, и очень жадный, драться голубь горазд и охочь, а уж около своей бабы вертеться, да песни играть,—так хуже жеребца стоялого.

— Была у меня тут собачка удивительная, Шашка—кличка была. Шашкой ей лапу перебили, болталась у ней лапа та, шерсть на ней огнем попаленная, глаз вытек, боевая была, от

хозяина ни на шаг, и спала со мной под шинелью. А как чемодан по соседству разорвало, так и она не вынесла. Как задрала она хвоста остаток, шерстку вздыбила, да на трех ногах такого латата задала, по сю пору не видно.

— Птицы, вот по ком я здесь скучаю. Я ведь птицелов, охотник... А здесь нету птицы. Попоет птаха недолго, и от выстрела охоту к местам этим теряет. Для меня, птичья тишина, словно гром... Я только к птице и ухо имею...

— Кто Бобкой звал, кто..., а не обижали. И ходила, аж отступала вместе. И ничего не боялась. Животное у нас теперь первое дело. Душу мягчит, зато и спасибо. Я пса мучить, страсть как любил на селе. В дегте валять—первое удовольствие. А тут отдашь свой харч псу поганому, и ровно опять человек...

— Смотреть-то не на что. Вещь вся в кулачек, голова большая, глаза сердитые, хохлится, и на месте, ровно жабка, присаживается. А запоет, в глотке-то царские звоны, да ангельски голоса...

До такой до чистоты, только божьей росой и можно домыться. И так, и так, смеху подобно детскому радуется, за грешных за людей угодниковы плачи повторяет, путь житейский забыть можно весь. И так долго, и наново поет, до умильных дум доводит соловей такой...

— Здесь скушно без птицы. Ребячью пору, не только, что побоями, а и птичьей радостью вспомянуть можно. Не пустит, бывало, тятька, ночую по низкам на огородах. Кусты—бузина, и самое птичье удовольствие, ягодник кругом. Еще и солнца нету, а уж зашебаршит птица по кустикам и голоса пробовать зачнет. У них на утре голоса свое солнце имеют. Така радость от них, не смочь солнцу на те зовы звонкие не явиться, не выдержать...

— Прилег, припал вечер темный, на ту пору и дума стала другая, не радостная. Что один на белом свете, и хоть здоров, велик, а без заступника, ровно камень придорожный: кто идет— ногой толкнет. А заря утреня, солнечный восход,—ина дума. Живи только, радуйся, человече, что души не лишен. Самому

житью радуйся. Пущай война, аль не война,—за плечьми ангел хранитель душу бережет. А ты телу радуйся, да жизнь всякую возлюби...

— Лежишь, и не шевельнешься. А жук на тебя идет, до того занятный. Идет, с пути своей все сметает, и еще на малую на букашку страху нагоняет. Малое то, от того от богатыря, по травинке утекает, да в ямках хоронится. А тот идет, силой хвалится, да спиной зеленой солнце переблескивает!.. Люблю я в траве лежать.

— К реке полянка бежит, деревами усажена ровно так. Зелень по ней бархатная, и посередь ее ручеек туда-же в реку бежит. Глазу сладко и сподручно, на простоту эту радоваться.

Душа вольная, свет широкий —
празелени-зеленя, во полях, во садах
на яблоньках.
А по осени, на рябинушке, на рябинушке,
на калинушке.
Душа вольная, свет широкий —
на грибной, на алой шапочке, на лесной,
на спелой ягодке, на всяком на цветике
лазоревом...
Душа вольная, свет широкий —
на лисьем на хвосте — искрасна, на девичьем
на лице — измлада, на седом на уме — издавна...
Душа вольная, свет широкий...

— Леса густые да древние, таки леса непроглядные, ровно не идешь скрозь них, а только то в песне старинной поется. Такой лес стоит, дороги в нем не торятся, сила в земле той великая, путину человечью травой-буйной заростит, сучьями завалит и на самом на нужном на месте ручей быстрый погонит. В лесу том жизнь чужая, не для ока человечьего, и нежить есть...

— Куда ночью солнце уходит, я не скажу. Чего не знаю, того не скажу. Только не верю я тому, что будто мы от солнца сами ночью отвертываемся, и что светит оно тогда другим каким

местам. Не может того быть. Когда б и камни на земле говорить стали, и те бы солнца от себя не пускали. А уж тварь-то, живущая, без солнца, и Бога не увидит...

— Самое красивое на свете—на реке солнце встречать. Выглянет оно, туман взовьется. А огонь—солнце, ровно легкий пар, быстренько в высь вскинется. Зальются птичьи голоса, засгрекочет тварь разная под травами, и вода от многой жизни заплещется. Ровно ты при мира твореньи стоишь. Так и ждешь, Бога Отца ужаснуться...

— Холмы круглые, все лесом покрыты буковым. И как идти по шоссе, так холмы те—словно огромные цветы собраны. Бук пестрый, и желтый-то, и кровью отдает, и зеленый до краю, и весь—словно радуга. По шоссе идешь которую версту, а за красотой и устали не слышишь.

— Вот веришь не веришь, а дышет-земля. Только не всегда ты к ней слух имеешь... Жизнь больно округ шуму делает, некогда ни до чего прислушаться—приглядеться. А бывают дни такие, и ночи особенные. Душа оторвется от нужного и слышит-видит, как земля живет, отдельно будто. Колышется травами-водами, паром-туманом дышет, и цветами-запахами около живого всего проступает. Свою жизнь земля имеет, такую великую, что только чуть на это у человека, а знатья никакого. Вот, думаю, монашеское житье настоящее, многое раз'яснить может, да где таки скиты есть...

— Все едино, по твоему. Скажут тоже. Только дубина какая, стоерослая одинака бывает всю свою жизнь, да и ту червь наново выточит. А уж человек-то... Есть на свете ночь-день, есть и солнца всходы-заходы, зори разные. И во всяк час человек разный. Душа одна, а во всяк час та душа разно отзыв дает. С солнцем—радость да жизнь, с ночкой—горе да смерть; сон-то, ровно материна рука, глаза прикроет, ласку-отдых наведет Ты только гляди вокруг, да все примечай, много чего увидишь. А то, «все едино», скажут.

— Закраснелись леса, замшились луга, пришла осень, да ясная, да душистая, да такая осень крепкая—зиме впору.

Осень осени рознь. В одну осень солнце хоть и строгое, да смотрит, не все скрывается. А в другую—не видать солнечного лика, и такая гниль да мзга оттого,—гибельная пора приходит. И птица, и зверь, и растение всякое,—мрет без времени.

———

— Море я увидел и не поверил глазам своим, такая краса божья! Только с тех пор стал я писанье хорошо понимать. Красесиле господней стал с понятием верить. Нашему брату все вынь да положь, а то и веры неймется...

———

— Горит трава полосою, а за той полосою еще чернее лес-то. И будто не люди за той полосою в лесу. Однако, делать нечего, ступил, ровно в могилу. Черно, за спиною огонь по траве шебаршит, впереди словно чьи-то глаза светятся. Извелся весь, исстрашился до рассвету. И уж так я в ту ночь по солнцу тосковал,—поднебесному жаворонку впору.

———

— Середь лета стало солнце огнестоем. Злаки посохли и все живое сухое и опаленное ходило. На семью свара, на избу пожары, на скотину недомет, на поля недород. Уж такое-то зло, коль и солнышко зло.

———

— Земля-землица, родимая мати. Ты породила, ты прокормила... Земля житье наше уютит, земля и кости наши приютит. Господь Бог—отец человеку, а земля—мать ему на веки...

———

— Как Господь пустил солнышко по небу ходить, и смех стал по людям цвести. Говорят, что и солнцу умереть суждено. И верно, что к тому идет. Уж и за мой век, меньше люди смеяться стали...

———

— Сидит седенький старичек и лапти накручивает. Не видать по нем, что чего выучить в силах... Я присел, и долгие разговоры у нас пошли. Научил меня всему... „Горе людское, что тень облачная. Пока не ослеп, все солнца жди. Пройдет тучка, выглянет красное. Худо только одно,—на жизнь слепу быть, да солнце-радость забыть“...

———

— Я думаю, очень интересно мне должно быть в театре. Но не очень было понятно, кругом народ о своем шумел. Сказку-бы какую показали, тут понимать нечего; а душа в чужой-то жизни, словно утица в воде...

———

— Один другому говорит: тот, говорит, не человек, который Пушкина, да еще там каких-то, не чатывал... Ты подумай, чего такое загнул, а?.. Да никто их, почитай, не читывал, а неужли мы не люди?.. Вот он и чатал, а ничего в ём путного нету... Хилый телом, и душа хилая. Боится, на себя и на людей злобится... Не человек, а сопля, вот те и Пушкин... А промеж нас, чистые богатыри есть... Забыть ему не могу, изобидел так...

———

— Я посуду видел у них занятную, на ножке на долгой, рюмка, что-ли. Ровно рыба-зверь. И таки, и эдаки цвета в том стекле, да все ласковые, и глазу сладкие, что ночка весенняя под месяцем...

———

— Занавес раскрыли и все видят: нарисованы деревья и дома, актеры ходят и говорят непонятное. И интересно, что не по житейски все.

———

— И я видал интересное, собак ученых. Собаки плясали, и с ружьем ученье делали, хвосты у них неуемные, ни по каким порткам не в пору, и потому очень смешно. По моему что смешно, то и показывай, а горем мы и дома нагорюемся.

———

— На картинах много красоты понаписано было. И женский пол, и цветы всякие. Однако, мне из простой жизни больше всего нравилось. На одной написаны бурлаки. Разные у них лица, а все наши дядья-сватья. Еще ребятки бочку везут... Жалко своих стало..

———

— Стоит ящик, в ящике кукла дышет, как живая, грудь у ней голая и ко груди змей припущен. Клеопатра, царица египетская. Коли она такая и взаправду живала, так верно много коло ней нашего брата, мужиков, голову сложило. Красива.

———

— У нас вольноопределяющий хорошо рисует. Ну, все, что увидит, так тебе похоже изобразит. Ровно все тебе вдвойне, одно и то же... Аж скушно станет...

— Лучше всего песни наши. Поешь чем громче, на душе легким криком радостно, хорошо... Кто песни солдатам придумал, самый умный человек был...

— Почему это я, как музыку слышу, плакать горазд?.. Плачу, словно ребенок... Чего-то тусменно, жить хочешь, и птицей летал-бы... Словно Пасха.

— Уж такие тут ковры красивые, не хуже поля цветут, мягче луга стелятся.

Сказку сказывать,
Сердце радовать.
Песню петь,
Богу радеть.
Черно слово сказать
Свою душу вязать...

— Спокон веку ведомо, кто силу имеет—тот и владеет. Только сила-то теперь из рук в голову кинулась.

— Помню, словно нынче, как папаша лампу керосиновую привез. Заправлять не умели, с месяц все в избе керосином несло, и хлеб, и квас, и все.

А потом загорелось, да так светло стало на душе, ровно не к ночи дело. Из избы ушел-бы, такая изба черная показалась...

— Я думаю так: после войны хорошо жить будет. Все выучились, чего можно, чего нельзя. Я первый, жив буду, так учиться стану, до голоду семью доведу, а выучусь... Жене писал, пусть она мне бастрюка принесет, а чтоб моих ребят учила. Как родит, не буду бить, а как мальченок не поучит,— убью смертью...

— Стоит столб, на ём слова, а прочесть я не в силах. Дороги за столбом разошлись, вот и иди куда знаешь. Сел, стал сказку вспоминать. А по сказке-то той—куда ни кинь—все клин, куда ни глянь—все дрянь. Я и пошел без пути, по середке, да еле из трясины и выбрался. Чем сказки-то сказывать, лучше бы грамоте выучили.

— Смотрю, ровно бы огонек мрежит. Я и попер прямиком, через пень колоду. А огонек все на той версте мрежит. Так я до свету шел, и все зря. Вот и скажи, что без лешего.

— В голове твоей бор темный, вот в том бору так леший. А коли свет в башке, так на свету всякая нежить выдохнет.

— Вот ты учен да умен, так неужто другие не люди. А он,— в неграмотном, мол, души нет... А какже, говорю, угодники то старинные, святые духом были, а неграмотные? А это, мол, по старине, тогда, говорит, другое с людей-то спрашивалось.

— Уж он меня шпынял, шпынял. До такого стыда доводил, топиться я задумал, до того затосковал. А всего и вины-то моей было, что неграмотный я, а так до всего работник.

— Придумал я раз машину, сел на нее, ногами на две на лавочки нажал и поехал. Это велосипед такой. Я уж и знал, что такие хорошие есть, настоящие, а до того сердце лежало. Все думал, как устроить. Деньги последние тратил, не жрал, не спал, и выдумал. Только силы в моем нету. Дитя проедет, а взросший в щепу раздавит.

— Кто в городу пожил, знает, что такое наука. И как она людей на верх ставит. Хоть бы дом большой, городской. Высок в гору, красив, велик, ровно село большое, строят же его простые, неграмотные. Ползут по постройке той мурашами, кладут камни по чужой указке, нету им в глазах дома того красы и ладу. А выстроил мужик, набил себе за то брюхо кашей, от дома того отвалился, да за избой своей курной ...

А живут-то в этом дому только ученые люди.

— Разскажи ты мне толком, что такое это, про все знать, где какие земли лежат, и что каждая вещь значит. Не могу я этого умом пронять никак. Мы от дедов чего повыучены, то и знаем. Вот я очень даже ясно знаю, чего такое на том свете есть; это выучены твердо. А как вещь какую об'яснить, не придумаю.

— Нас учить нужно всему. Как я понял, чего я супротив супротивника не знаю,—душа в пятки ушла. Жизни моей не хватит обучиться. Да и ум-то во мне от возраста заматерел. Не согнешь, разве что скорежишь. Пусть уж детки наши обучаются. Только для того и домой-то хочу вернуться. А то так темноты своей страшусь, помереть впору...

— Об науке я много не знаю, однако, всегда разсуждаю: ровно чудо, эта наука самая. Верно, так и в старину-то чудеса бывали. Кто попроще, за чудо считал, а кто поученее, причину знали. Нашему-то брату темному, грех не велик науку хаять, а, вот, уж ученому человеку, совести нет, над простой над верой измываться...

— Думай про себя, да терпи, одна только и есть наука. А остальные науки только попрглянее округ нас делают, чтобы обо всем про себя думать было занятнее. А главное то— все тоже. Не проживешь без того, хоть какой нибудь грамотей.

— Нету хуже, как думать долго. А неученому, только одно и есть, кроме работы. Ученый, тот все знает, и читает по книге, что ему чужой толк придумал. У него душа свободна. А темный все своим умом ворочать должен...

— Нет, книги красота, коли хорошо читать можешь. А как книга с картинками, так и безграмотному радость.

— Темны мы не по своей вине. Я с малых лет ученье любил, сам себя грамоте обучил, а что я за помощь в этом деле видел? Все мне ученье было—у сапожника по башке колодкой. А он еще под себя ходит, а над ним с книжкою сидят. И дальше,

только захоти, до самого высшего разума доучиться можно. И при всем том, сволочей из них тоже много бывает.

— Чтобы понял я, как жить, не меня одного учить надобно. Не прощу я, выучившись, что деды-отцы в беде темной сидели... Коль я своих русских жалею, и кровью к им теку, так на свет один итти не согласен, не совращай.

— Я как лягу, об чем думаю?.. Хорошо бы, всего лучше, чтобы я так быстро читал, как говорю... Господи, думаю, читал бы я тогда всю свою жизнь, и всю жизнь свою забывал бы...

— Взял я карандаш и стал писать как следовало. И увидел я—топорище куды к моей руке поприкладнее. Упарился в тот раз, будто целую делянку и снял и выкорчевал. А уж кабы я столько раз топор из рук выронил, сколько карандаш-то этот—быть бы мне безногим калекой.

— Дурни все, которые безграмотные. Ты, даве, что такое прочел?. «Секла» замест «стекла»... Так оно и верно, что пороть тебя надо. Сам бревно, и башка...

— Друг мой, читал я столько, что теперь я тебя во сто раз умнее... И стыдно мне перед эдаким невеждой зазнаваться... А душа у меня такая, что сама себе чести просит...

— Середь темна бора, середь темна леса, Зовутка живет. Слышит Зовутка вокруг себя, и вокруг себя, и поодаль себя. А как мал тот Зовутка, да весь в ногах. Ноги его долги, ноги его быстры. То тут то там, то по край леса. То по край леса, то по край свету...

— Николи я так не потел, не трудился, как за букварем. Кабы не верил, что без того нельзя, тятька заколотит,—ни в жизнь муки такой не нес-бы. Выучил букварь, склады складывал, а запрегся в тягло,—все забыл... Рабочему мужику, грамота—тягота...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Расчеши, мамаша, голову кудрявую,
Разведи, родная, грусть-беду лукавую:
Притаилася, прихилилася,
Под сердечушко подкатилася.
— Ты спокайся, молодой детинушка,
Служба царская не по сердцу,
Служба божия опостылела,
Не твоя вина, не родителев,
Не людская вина душу выела,
Как пришла война по времени,
И по времени, и по всем грехам.
Больно много брали радостей,
По богатству, да по барству старинному,
Да не мало греха и по работничкам,
По работничкам и по плотничкам.
За хмельной за хлеб душу—тело продали,
Как душу крещену на помыкание,
А тело злой войне на истерзание.

—

— Ей Господи, тоскует душа моя, тоскует, плачет,
Плачет, своим горем хвалится.
Ангелы с небеси глас спосылают,
Тот глас в душу залетает, душе мир проливает.
Злу-лиху думу душа забывает:
— Не плачь, мужик, не горюй, не гордись долей горькою,
Не тешь слезами душу сиротскую.
На войне живу душу сберечь-собрать,
На миру за весь за свет муку-труд принять,—
Чем та доля не вынослива,
Чем та судьба не завистливая?
Вспомни Господа Иисуса Христа, и пречистую преправедную муку его Господню...

—

Послал на нас Господь грозу великую,
Ангелы архангелы не вымолили,
Матушка Царица Небесная не выплакала.
За грехи за смертные и смерть пришла,
Да не по одну по душеньку, по тысячи,
Да не по одну судьбинушку, по весь по свет,
Да не по нашей по волюшке, по божеской...

— —

Чудное чудо на нас нашло,
Страшное войско до нас пришло.
Пронеси светлу душу через ту череду,
Проведи добро сердце через ту беду.
По чужой по вине на тот свет иди,
За чужой за грех душой плати...

———

— Ах, у нас хорошо дома, я нигде не видал, чтобы так хорошо было... Изба моя на реку, через реку луг видать, по нем бабы бывало, как цветы, платками на сенокосе зацветут... А дале лес видать, краем словно дымок бежит... Глаз-то разгонишь, не остановить... Здесь мне только то и любо, что на дом похоже. Смотрю, похоже—красиво, а не похоже, так хоть алмазами убери, не надобно...

———

— Девять ден у меня после пути оставалось... И с первой минутки тоска брала, что скоро назад надо... Ни часочку радости не имел... Сердце отогреть боялся, горя ждал впереди большего... Больше в отпуск не согласен. Бог с ним!..

———

— Грызла меня сперва тоска по дому. Все то я дрожу, да пекусь, как там, здоровы ли, да не обидел ли кто, да денег-ли хватка, да не очень ли по мне убиваются. Вскоре привык дом забывать. Теперь только во сне вижу, зато каждую ночь. Встаю, так словно с палатей своих лезу. Да только не на свой подстил ступаю, не своим богам молюсь. А через часок времени отойду, и опять чужой до ночи.

——

— Я раз был на том свете, с рябины высоченной ухнул, головой крота в норе задавил. Так пока меня оттерли, я на том свете всего насмотрелся, только скажу правду—ничего не

помню. А знаю, было что-то, как чумной лежал с неделю, покуда земле не вернулся.

— Молчальником мы его звали. Лицо у него девичье, а сила в руках была, ровно у богатыря старого. Оглобли ломал, обиды ж не чинил никому. Так вот, видел я, что жизнь-то наша бестолковая, да небережливая, из того молчальника понаделала. Угнали его за беспорядки. Спился, лицом страшен стал, силушка из рук-то в дрожь перешла, и молчанье свое на последнюю на матерщину сменил...

— Он такие занятные истории рассказывал, рота до того смеялась, горе с им забывали... Да так его любили, все жалели, ровно ребенка своего... А умирал, так Иван сказывал, передать велел землякам, нам значит:—пусть, говорит, помнят,— что смешно, то не грешно. Пускай земляки меня за смехом поминают... Смерть мне, словно жена, только ее мне и не хватало...

— На паровозе пристроился я очень даже хорошо. Товарищи у меня лихие были ребята, и погулять, и поработать,— все умели. И дружбу водить умели, до самого сокровенного умели дружбу держать. Эти за кость не перегрызутся, нет...

— Замечательный он человек был. Боязно его было, и совестно его было, и не понять, что в нем за сила такая была. Хилый да слабый, на глазах очки, с клюкой всегда. А душа светлая, жалостливая, и большую силу та душа брала...

— И ушел из своего дома от такой горькой обиды. Ушел, и десять лет не ворочался. Жил в обиде своей бобылем горьким, никакой себе жизни не строил, только злое передумывал, да как домашние по нем каются-убиваются. И ничего об доме да семействе не знал. А через десять лет вернулся и видит: отец-мать померли, братья-сестры гнезда свои свили и птенцы есть, а жена его двоих малых деток за собой водит. Вся семья ростки пустила. А в ем, от злобы его одинокой, да долгой—самые корни погнили.

— Дошлый народ трактирные. Он тебе, за семишню, с бабкой родной спать станет. За медный пятак, и эдак и так. А уж за полтину, дугою спину... Заместо души, у него грош медный, вытертый... Вот уж верно, что—в кружале жил, ума нажил. А как за порог, свиньею лег...

— Сидит и на щетах щелкает, да ловко так, что баба языком. Стою я, жду, а он щелкает. И так я долго ждал, что ноги замлели. Самому жрать неча, а за чужими щетами родного человека на ногах заморил. Холуй чистый.

— Забулдыга, забубенный человек, загульный,—дух в себе не свой носит, а спиртовый. И такой человек за себя не ответчик. Не его воля—спиртова. А спиртик-дядя кашу в сурьез варит, по своему,—трезвому и не расхлебать бывает.

— Рости большой,—да не будь лапшой, рости верстой, да не будь простой...

— Пошел посмотреть, вижу, лежат они, холстом прикрытые. „Иди, говорят, может, ты опознаешь“. Я подошел, конец поднял, глянул. Сердце мое упало, и вижу сразу, чье это дело. И нет, ведь, чего такого особенного. Лицом оба страшны, да уж чего в смерти напрасной, красоте какой дивиться... И не в том для меня дело то стало. Да, словно криком вид ихний, такой страшный, кричал, и сразу в догадку стало, кто убивец. Отошел и сказал, правдой оказалось...

— Спит, бывало, одним глазом, особенно, что до хозяйства, до лошадей. Бывало, кто из ребяток, с полатей скрозь сон сверзится, отец и глазом не поведет, знай храпит. А чуть только при конюшне что брякнет, хоть мышь со стрехи, сейчас руку в кожух, и нету его. За то большой двор скопил, и до сей поры один владеет и работой, и семейством всем. Кряжистый старик.

— Глотнул,--больно, жжет, и свету в глазах не стало, а после, прошел огонь по всей по крови, прет смех из меня, ровно у дитяти малого, и все худое забыл... Так я пить-то и почал...

— И чего от меня думает, не пойму. Умасливает, и такой, и сякой, немазаный... И умен-то, и добер, что-мол, плохо жить такому орлу. „Иди, говорит за нами, мы русскому народу свет показать хотим“. К чему, думаю, речи такие?.. А как сидел на подсудной скамье, так сказать был должен, за что жидов громил. Вот и сказал, что нанялся, правду сказал. Из суда домой пришел, хозяин бить стал, за правду мою... Говорит: „разве душу нанимают? А что деньги давали, так то на прожитье... Бил и срамил, и в ночные перевел...

— Завел ружье хорошее и стал что день на охоту ходить. Вот раз до вечера в белый свет, как в копеечку дробь гнал. А к закату, с силами собравшись, хорошую дичину подшиб, корове под хвост весь заряд влил. Так спасибо коровьему хозяину, отшиб парня от охоты, а то бы я всю деревню обесскотинил.

— Связал он меня, привел в сарай, через балку веревку перекинул, за руки, за ноги той веревкой зацепил,—да брюхом вверх и подвесил. И стал вожжею по брюху бить. Долго хворал я потом, да и до сей поры я хилый. Отчим-то не отец, у него побои с вывертом...

— Меня поп позвал и говорит: «грехов наделал ты больших. Умнее прочих, значит ты и в ответе»,... Кабы я знал, что беда удет. Шли-то мы, крови в уме не держали... Я парням сразу наказывал, не до смерти бить. А спустить такому смердящему, никак невозможно... А пришли, да бить стали, пока кричал, так били, чтоб молчал. А как замолк, так какой в ём толк... Так и убили... А в душе того не держали...

— Сплю я на копенке, слышу—шуршит. Мышь, думаю. Шикнул,—не мышь, шуршит непрестанно. Я рукой сунул, и гадюку поймал. Как ужалит! Я ее об сапог, а потом из руки себе здоровый кус и выкусил, просто сколько зубами захватил. Поболеть поболело и к вечеру прошло. А то бы помер враз.

Забодал меня бык, над башкой подкинул, а потом оземь. Рогами мне кишки выпустил. Пополз я, кишки по земле волоку. Бабка надо мною „ах да ах“, тряпьем меня заткнула, да в боль-

ницу на тележке свезла за семь верст. Я-то не в себе был, а бабка сказывала, что докторша, тряпье-то из меня вытаскивая, зарекала,—умру, мол. Ан выжил и скоро выписался, и по сию пору здоровый.

— Выдумки, говорю, выдумки вражьи. Душа, да душа... А душа в теле хороша. А хорошо тело—повсегда при деле... Значит работай, округ себя смотри, и об земном пекись. А то душа, да душа, а сами ровно свиньи...

— Сказал он мне: „лови, мол, парень, всякую свою думку, да разбирай, что к чему“. И стал я по его делать. Ну и работа, братцы... Думы мои, ровно ужи, склизкие. Только ухватишь, а она уж далече. А потом приобык, присмотрелся. И до того я, братцы, додумался,—главное, своя рубаха к шкуре поближе. А ьз-за такого-то клада, стоило ли в башке-то копаться? Эдакую-то думку и под собой высидишь...

— Ах Киев, Киев город... Больно хорош, уж так-бы там жил, вечно... Вот, говорят, грех без работы болтаться, а я так думаю, что работать грех... На то и солнце на небе, чтобы ему радоваться, а уж какая это радость, когда горб от натуги трещит...

— Утомились мы на работах. Когда и по заповеди верили, что за труды много грехов простится. А коли, вспомянешь бывало, что и согрешить-то за работой некогда,—так так на грех тянет, ровно нету на свете ничего греха милее. Надо думать, что через силу работать, не очень для спасения души полезно...

— Сказывают так, жил человек суровый и строгой жизни. И себя и округ себя все по закону соблюдал. И дожил тот человек до смерти и попал на тот свет. А там его и спрашивают: „что, мол ты, батюшка, на земле делал“?... „А я, говорит, закон соблюдал“. „А как же ты его, дядя, соблюдал-то“?. —„А я, говорит, не крал, не жрал, под себя не с...., с бабами не спал. „А ему и говорят: „ плохо, мол, старче,—из «не» никакого дела не выкроить, а за то что ты все не, да не,—так

и сиди, брат, на дне"... Да в пекло на дно на самое и усадили. Вот те и законник.

— Здесь и убьешь, по головке гладят... Только нет от этого удовольствия никакого... Уж чего хуже, душу человеческую загубить, а уж губить, так хоть через запрет... Много легче, как совестью мучишься... Всей ценой за грех-то заплатишь, и нет его...

— Эх жизнь духовная, потеха человечья, не иначе. Жеребец по церкви ходит, да в ризы святые рыгает с перепою. Нет, ты мне монаха дай, жизнью славного, тогда и веры требуй...

— А у нас какой батя был. Сам малой, рот толстый да мокрый, глаза косые. А бабы, бывало, ни одной не пропустит. На стирку к себе зазовет, да и мнет ее по чем зря. Как дознались, били его сильно и благочинному жаловались. Лютый поп был, вдовства не мог вытерпеть, крутил-мутил и повесился...

— Сказывают, для того выучиться хорошо, осуждать, мол, перестанешь, коли все понять будет в пору. А вот, я выучился, вдвое осуждать стал, все мне немило, особливо грубость наша... Ровно по ножам ходить стал меж грубости, как повыучился...

— Дал заяц стрекача, а на встречу волк. „Эх ты, говорит, дерьмо ты полевое, под ногой трава горит со стыда, что ты, заяц, робкий такой. А я, волк, герой"... И схряскал зайца. Кто кого с'ел, тот и смел, хорошего-то тоже мало.

Он свиней водал жирных на убой. И очень это дело человека портит. Первое, что только в жратве-то весь смак. Второе— нажива дурницей, почитай без работы совсем, помоч отдаст— золотом получит. А третье дело—больно уж все не красно, и свиньи-то, и сало-то, и дух-то этот. Так оскотинеть не трудно.

— Завтра, братцы, иду я туды на базар, для своей семьи гостинцами разживаться. Куплю жене кожух белый, веселыми шерстями шитый, а девченке игрушку—утку видел до того хорошую, и нос алый и пищит, сам бы занялся..

— Я семью свою повсегда помню, во сне вижу, на отдыхе тоскою сохну, в самом бою осиротить жалею.

Спой-ка песню, канареечка,
Про судьбу мою злодеечку,—
Как на фабрике свои жилы рвал,
Как по праздничкам с бл... гулял,
Как женился на немилушке,
Наплодил детей, словно ад чертей,
Пораздал детей по чужим семьям,
Колотил жену я аж до синя...

— Матери хороши, а вот отцы—те чисто волчья кровь. Сызмальства колотит да пужает, подросшего в самом сердце бабой изобидит, а как за старостью силы на злоз лишится, так столько хлебу нажует,—целую семью прокормить впору.

— Заболел, сразу не в себе стал. Ничего, что есть, не вижу, а все свое придумываю: что в тепле-то я, и при семье-то я, и так коло меня домашние ходят, да всякое мое слово ловяг. А поправился,—нары, да воздух под топор.

Напиши, товарищ, строчку
Моей мамаше про войну,
Продырявил враг сорочку,
И сорочку, и спину.
Как мамаше жалко спину,
А сорочки пожалчей,
Для чего с себя не скинул,
Поизранило б ловчей...
Напиши письмо, товарищ,
Ты моей верной жене,
Чтобы долго не тужила,
Не печалилась по мне.
Станет женушку карячить,
Станет с горя распухать,
Девять месяцев проплачет,
А потом байстря рожать...
Что мамаши, что жены,
Все бабами рожены...

— Бывает так: только что хорошее с тобой приключится, письмо получу из дому, что все мол, в порядке, здравствуют, да кланяются земно,—душа отпустит, и пошел думки думать, да грехов набираться. Нет, человеку душу иметь нужно тугую, притянутую, чтобы об одном душа думала, только так и греху не быть....

— Не сгинет мужик русский со свету, крепко в землю вращен мужик. Земля ему мать-отец, война ему зол-конец.

— Сгорела изба моя, и амбар, и скотинка: коровка, да две овцы заводские. Остался я гол и наг, и только тем не угодник божий, что семейства у меня семеро ребят, да мамаша слепая, да жена на сносях. А на счет мытарств, так хоть и святому великомученику в пору...

— Память у меня слабая. Я вот помню все, что до хозяйства. А насчет войны, бей не бей, не упомню. Сорок лет, почитай, мозги на одно натаскивал, а тут все другое. Кабы еще по душе было, а то я так рассуждаю, что русскому одно по душе,—своим домком жить, по чужому не тужить...

— Меня такая обида взяла, на это глядючи. И не только что стены не валятся, пол деревянный, электричество светит, садики есть, и картины, и все, как у настоящих богатых людей... А потом, как подумал, что все это делать нам самим-бы пришлось... И так решил, что лучше просто, как свиньи, жить, а уж на вокруг себя силу тратить—не согласны...

— Ждать-ли мне теперь счастья какого, али радости,— нельзя... И должон я верить, что не для радости одной человек на свет рожден. А если я так верить не буду, одна мне дорога, без покаяния, — на тот свет.

— Хорошо жил я недолго, больше плохо... А теперь в люди попал, и нужен стал... Смеюсь я надо всем, и в Бога верить еще с пастухов перестал... Сказал:—«не верю, разрази»!... Гроза была большая, не разразил... А жизнь я не очень что-бы любил, и папашеньку с мамашенькой за нее на спасибовал... Как кобель с сучкой, а ты что в аду гори... А на войне нужны

стали: то «братцы», то «ребятушки»... Чую, выпустит мне Вильгельм кишки...

— Устроить я жизнь свою по хорошему не мог. И не знал, правду говорить, как лучше, чтобы приятности больше сделать. Есть да пить вдосталь,—тоже докука от сытости не малая. А как и душу, и брюхо сразу напитать, не знал я. Не выучен...

— Очень я люблю, когда у меня жар, и думаю, что болеть человеку нужно. Вот я прежде никогда не болел, и боли никакой не верил. Теперь-же все понимать стал, и даже грамоте охотно выучился...

— Сны я вижу разные. Снится мне синий лес. Все синее и листы, и земля, и все синее... А небо красное, как на пожаре... И по нему искры, как на пожаре... И так мне смутно... Закрою очи, и птицы синие из глаз моих летят... Так, одна за другой отрываются, как пузырь мыльный, летит, и нету...

— Мне сны хорошие не снятся. Мать покойная зовет меня со двора. А я загулялся-заигрался, не-то и большой я, не-то дитя малое. Будто, с товарищами бегаю, а водку в уме держу. Мол, в ловишки кого обегу,—шкалик. А маменька кличет, бить хочет. На крыльце стоит, сама, как в гробу, на лбу венчик, и руки крестом... И жаль мне, и пойти боязно... Не-то битья боюсь, не-то, что покойница...

— Смерти я больше по ночам боялся. Как на воздухе вольном уснешь, к работе глаза продерешь,—думать некогда. А зимой ночь долгая, дух тяжелый, работы мало... Середь ночи, ровно толкнет тебя кто, сна ни в одном глазу, словно и не было. Вот тут сердце застучит, аж руку тянет... Оно стук, и рука с им вместе... И уж знаю, что это я сейчас смерти бояться буду, а сделать с собой ничего не могу... Да и что сделаешь?... Вот, что стена, вижу, не миновать-же...

— Зугудел жук: „такого, мол, я шуму напустил, все верно попряталось со страху, покружусь-ка я на просторе". А под

тот шум и птица за жуком на охоту. А ты шумом не пужай, приглядки меньше, проживешь, брат, дольше.

— Батюшка, батюшка, прошу тебя, учи меня Христа ради... страшно мне... смерти боюсь... Что мне на том свете будет?.. Приду я до раю, спросят, что сделал добра?... А я что сделал,— ничего... Коль работал, сердце злобой рвал, а отдыхал—без просыпу спал...

— Здесь по пустому пекутся. Брюхо устрояют потеплей а душу-то, знать, уж на том свете наскрозь прогреют.

— А и есть грех, так в орех... Мне смех больше, как люди греха боятся... А ведь грех-то кругом... Кабы за все углем платили, так и в раю никого-бы не было... И святые угодники, блоху давят, да травку топчут...

— А чего-чего человек в брюхо ни набьет, да опосля земле напакостит... Тоже не без греха...

— Одно есть на свете самое наинужное, по моему,—чтобы это праздник был. Только ради праздников и труд-то подымаешь...

— Нету радости мне от пустых дел, и всяких разговоров. Срослась моя душа, в юрода в какого-то оборотилась, от здешней жизни тесной. Может, когда ни то и будут люди на земле слободно жить, и друг об дружку, душу свою, до мозолей натирать перестанут—а пока что, ровно в бочке...

— Забежал козлик в лес и все с им как следует. Сейчас это ему волк на встречу и стал козлика есть. А козлик тот не всякий был, больно умен, сейчас это он волку в брюхе рога расправил, из брюха выскочил, да и стрекача, аж земля с под ноженек горяча. А волк сел брюхо чинить, и думает—ну и народ пошел, ну и порядки. Заглотал я его, как путного, а он окромя убытку, ничего хорошего...

— Сидит дедушка, дремлет, и кот при ём сказку зимнюю поет-урчит. Спрашиваю: «кой тебе годок, дедушка»?. „А сотый

даве минул, за сто мне“... „А как же это ты дедушко, зубов да волос не растерял? А я это, внучек, свои зубы с садом садил, а волос с полем сеял. И столько это я на веку своем дерев насажал, да хлебов насеял, что и грех бы мне перед Господом лысым да беззубым ходить“...

— Обычай есть, в прощен день, по грехам у людей прощенья просить. А не видывал я, чтобы кто за грех за настоящий, при чужих просто спокаялся. Разве что батюшке, потиху. В нас грех бережется: помни, мол, сделал зло для души, не забудь стыда, да больше не греши. А как на люди грех-то вынести, и стыд потерять можно...

— Все бедность. Мужик один молился, не доведи, Господи, до греха. И обнищал. Скотину у него свели, ну нет силы подняться. Гол как сокол. Да хоть бы один, а то семейство. Воровать на деревне опасное ремесло. Тут не до суда. Где поймали, там и без попа обошлось. Да и бедная наша деревня, не попользуешься. И бился мужик эдак, честно трудился. Только до того озверел, ребятки его родные с ужасу в родном дому не ночевали. Бывало, прибьются у чужого тыну, да дрожьмя дрожат. Забил их отец, совсем их закричал... А баба его так и говорить забыла. Только, бывало, под иконою вопит, а то колодой-колода. Этому согрешить-то много, греха меньше на душу принять, чем в такой-то честности оскотинеть.

— Сны—одна радость... Как не спишь, так не живешь... Во сне дом увидишь, со всеми по людски поговоришь... Я теперь о чем молюсь, как лоб-то перед ночью крещу?.. Молитвы отчитаю по положению, а потом,—подай, Господи, сон про дом.. Кабы не сны, и того тяжче стало-бы...

— Когда я утоп, то вот что увидел: набилось в меня через все мои дырки и песку, и воды, и всего. И стал я толстый да красивый, глаза вылупил, язык высунул, брюхо горой раздул, весь срам наружу выкатил. Осклиз и разными пестрыми цветами раскрасился. И желтый-то я, и зеленый,—чисто радуга. И стали меня, такого красавца, раки любить.

— Меня обидеть легко, язык у меня немой. Разве что кулаком говорить дозволят.

—

— Книги нам только божественные разрешают, напрасно ты сестрицу беспокоишь, не имеет она права. А ты сам себе рассказывай, оно и ладно. Я как лежу, смежу очи, и что хочу, то и вижу... Навострился. До одного дойти не в силах: дверей в уме отворять не могу. До дверей дошел, а дальше наново надумывать надо...

—

Запой песню, соловушко,
Про победну головушку.
Нет ни матки, ни отца,
Нет ни сестры, ни братца,
Ни портянок, ни сапог,
Ни волосьев, ни зубов,
Нету пашеньки ни пяди,
Нет ни женушки , ни б....

—

— Вот о чем я больше всего интересуюсь: телеграмму получить. Никогда не получал, верно, больше бомбы устрашился-бы...

—

— Что нас не любить, чем плохи? Это здесь только затуманились, по близу крови напрасной. А там—мужик хороший, много чего знает. Ни в жизнь кому обиды не сделает, окромя строгости в семействе. А без того нельзя, по старине...

—

— Ровно кругом сеть невидимая раскинута... Ходим мы беспечально, пока в сеть ту не вступим... А тут, раз... Прихлопнуло, и нет души человечей...

—

— Бояться-то мне нечего, больно я жизнью взыскан. Всяко бывало, и вкривь и вкось, и наг и бос, и бит и не сыт и на каторгу брит...

—

— Бить я жену давно перестал. Понял, что не больно это хорошо, как сон мне приснился, будто я сам баба, а муж будто меня здорово прибил... Много-бы лучше было, кабы про все сны снились. Вот бы немцу привиделось, каково нам здесь

жить проклятно, скоро бы отвоевался... А нас учить, лбом в стену бить, и то не научишь...

— Нету мне веры в счастье теперь. Посудить, так и грех об счастьи-то думать, в черный год такой. Ржать-то не с чего. Да только годов-то мне мало, душа-то, хоть и поустала, а зато самому, инда до слез смеху хочется, а нету его...

— Загулял я тогда на целую неделю. Сильно с тоски да со страху баловал тогда. Очнулся чуть не на самой позиции только, и так я зажалел, что совсем, почитай, без памяти с прежней своей жизнью распростился. Вернул бы, да поздно. А теперь-то все ведь иное.

— Греха нет, по моему... Коль, что я делаю, а Бог все видит, значит в его воле, допустить, ай нет... Вон сынишка в огонь лезет, так вытащу, да по заднице, а коль увижу, не попущу... А Бог, он все видит... Случиться худу, и на то божья воля... За Богом греха нет...

— Нет, я себе теперь запрет наложил на многие думы, только тем и спасаюсь. Кругом не гляжу, и в душу не допускаю. Велят, приказывают, делаю, исполняю. А ответа не беру ни перед людьми, ни перед Богом...

— Задрал волк у меня ягня и стрекача с им. Собаки в голос за кровью. Сшибли они волка, отняли ягня и сожрали. А мне не все едино: злое али худое мое добро стравило?.. Вот так и Бог да черт. Нам до них что, абы жить ладно.

— Так, так, ладно. Так и пес шелудивый при любом тепле в раю, хоть бы и в нужнике.

— Скажи ты мне, дядя, правда это, что когда человек родится, за него будто ангел и бес спорят, кому им владать... И так, будто, он и живет дальше-то, на хозяина.

— Хуже, брат. Человек хозяина-то своего до самой смерти не знает, зря все лотошится и хорош-то, и дурен. А вот, как смерть пришла, тут один в головах, другой в ногах. Тут уж

твое дело кончено, разве что на ихнюю потасовку глядя, в последний разок посмеешься.

— Засадили меня, а потом судить стали. Я и говорю: „что это вы меня сколько времени держали, а потом судите. Вы сперва должны разобрать прав я, али виноват, а уж потом в острог“.

— Думаю я, скоро дело сменится. Мы с покорностью идем, покуда греха боимся. А грехи разрешим—и другие нам пути найдутся.

— По земле ходить, не о грехе судить. И цыган путем ходит, да у пахаря скотинку сводит, а с им не на том свете расплата-то, наше дело, не небесное.

— Стоит, будто, город у всех на виду, а хода в его нет. Будто бы большими трудами туда дорогу находят. А уж как попадут,—тут тебе все: душа полна, тело сыто, и уму всякого интересу сколько хочешь. И с жизни такой живут в том городе только святые.

— Вдруг хватился барин, искать, в ейном сундучке отыскали. Пороть хотели, выпросилась, и по обещанию в скит сбегала. И стала святая. А всей-то ее святости цена—этот самый перстенек бирюзовый. Не попадись она на ём,—до смерти бы блудила.

— Заскочила тебе блоха в ухо, а ты баешь—гром. Свет белый шкурой своей загородил. А ты погляди-ка за шкуру, вот и не будешь из за кажной вши без души.

— В горшке кисель зреет, а баба все торопит. Огонь на горшок пыхать, горшок кисель бунтовать. Запузырился кисель, зафыркал, не хочу, говорит, в таком дерьме сидеть, больно уж мне черно, а я гляди какой... Да и ушел. Не торопясь то куды сытее.

— Я прежде коло саду ходил. И отец мой садовник, и дедушка тоже. Крепаки садовники были. Дед, тот заграницей

10*

саду-то обучался. И мать садовничья дочка. Вот, я от того и нежный такой. Мы спокон веков крови не видывали, да на цветы радовались. А на войну-то только с червями, да с жуками хаживали. Меня из сада-то выкорчевывали, ровно грушу старую. Какой я воин...

Ох и ах мне бесталанному,
Погляжу я кости узкие,
Погляжу—волосья редкие,
Погляжу я руки слабые,
Погляжу я ноги хилые,
Погляжу я да подумаю:
Горько жить мне неудачному,
Ох и ах мне бесталанному...

— Обман кругом, думаешь ты глупо, когда веришь всему... Вот птица ласточка, сдается, порхает—заботы не знает?.. А она, как порхает, только брюхо тешит... И все так, и бабочка, словно сучка, а ты думать рад, что это она солнце благодарствует... Это все обман... А что верить человеку надобно, то слов нет... Только пусть меня научат, чему верить не глупо будет... Я знаю, кабы человек свою душу открыть мог, хотя-бы себе самому открылся, поняли-бы люди, чему верить надобно...

— Я с детства пужлив был. Особливо грому я боялся. Как ударит, удержу нет, боюсь. Здесь я силы теряю от страху. Не смерть меня страшит, мне жизнь здесь очень тяжелая. Все стыдом стыдят, трус, мол. Да разве я рад? Да я бы жизнь свою, ровно луковку, отдал, только-бы не бояться, нате, берите... Ох, я здесь очень не на месте, мне-бы в лазарет, до раненых служить... Жалею, и рука легкая... Вот-же, не будет такого счастья...

— Сколько мне еще жить—не знаю, а ровно мне сто лет теперь. И не то, что слабый, али беззубый,—нет. А только умней стал, и по пустому не ржу. Хуже стало, как война уму-разуму научила...

— Сожмет, бывало, сердце мое жалостью, ровно рукою. До слез жалею я все на свете белом. Все любо, все жалко, все

мне ровно дитя родное. Нету мне тогда ни немца, ни татарина. Что жук, что кошка, что человек, что камень,—все красою мило, все жалею. Через эти нежные чувства, я водку-то и любил...

— Разве ж убивец особенный какой человек, стараться для того немного надо. Пришел ты до дому, всего нехватка. Ребяты с недокорму паршивеют, хозяйка усохла, да тебя за ущерб за всяческий поедом ест. Брюхо с голоду день деньской гудит. А тут злодей ночной последнюю скотинку свести норовит. Ну, как поймаешь, так в голове окромя как бы того вредного со свету убрать,—ничего и нету, так и убьешь...

— Спросил батю, «чи правда, что на исповеди грех скажу, хоть царя убил, а не скажет батюшка, запрет такой?»—«Правда»,—говорит... Я ему и скажи про Агашку, что женился не на ней, а испортил девку. А он спрашивает, „чи против совести поступил“? А я сказал, что по совести, а против сердца... По совести—отца с матерью успокоил, а больно Марьи не любил, рябая... А он говорит, «главное по совести, я тоже вас на битву благословляю и крест даю целовать, по совести... А по сердцу,—наплевать,—да к попадье в поповку»...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Восходи-восходи, солнце ясное,
Восходи-восходи по поднебесью,
Кровь—войну пригрей, повысуши,
Солдатскую долюшку повыслушай.
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Как ни дня не видать, ни звездочек,
Как нету ни роденки, ни женушки,
Ни родителей и ни детушек,
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна, смерть—страшна война.

— Сиди мужик, умири душу,
Запрети мужик вольну думу:
Как не быть добру, не быть
работушке,
Не избыть той войны-сухотушки...

— Схороня ту войну-горе,
Работушка, широкое поле,
Приберите ту войну всесветну,
Мужички, работнички несметны...

— Снится мне, бывало, что все стало по иному. Господа, будто, нам покорны, а мы владеем ихним всем добром и силою. Ну уж и измываюсь я над ними, будто. Откуда что берется. Наяву бы николи такого не придумал. На яву-то зла такого не вытерпеть. Допекли, значит.

Облак ходит, облак темный,
А у нас враг неуемный,
Не уймешь его штыком,
А уймешь его умком...

За горой, за горкой
Баринок гуляет.
А я ножик заточил.
Он того не знает.

Будет мне, довольно
Барина бояться,
Я с барыней пересплю,
Чтобы насмеяться.

— Давай, мол, мне руку в поруку. Даст—смотри, коли мозолиста рука, бери, свой брат. Не продаст.

— Ведь учить-то денег стоит, а чего выучивают... Не то что работу какую настоящую справить, ноги-руки утрудить, для-ради отдыха утомиться,—так сапоги сами себе одеть не в силах, и постелю им готовят.

— Я часы всегда хотел, да не по деньгам было. А тут, как получил я их в подарок, так словно дурной стал, целую ночь слушал, как тикали. А как украли, так сперва чуть не заревел было, а потом подумал,—живал я без лиха, проживу и без них. Слава богу, не баре часами безделье мерять. Наше-то время к пот отобьет.

— Ничего удивительного нет, что ты только простой народ слушать любишь. Мы тебе, что земля чужая,—все новое. А ваш брат, барством да науками душу-то себе грел-грел, да и прожег насквозь,—зола осталась...

— И по скольку стыда у них нету! Ну ты, да чтоб я, да разуть себя повелел, али, извините, посуду-парашеньку с чьих рук получил, да лучше мне скрозь землю провалиться. Это все, что на людях постоянно, тары да бары, да и прислуга им все невозбранно, вот совесть-то и стаяла...

— Со своим братом я слов сколько надобно имею. А тут немой... И не стыжусь я, а все боюсь, что не так услышат. Не понимают они простого человека...

— Я перед большим-то начальством робость имею. Стоит такой перед тобой, и знаешь, что тебе до него, что до Бога. Только что со всеми вместе услышит. Где уж ему до тебя, до Ивана! Подавай ему паству целую...

— Нет у меня в душе добра против богатых. Больно-то богатых я и не видел, однако думаю, что еще хуже... Ему бедный, что дурень, что прямо злодей. Брюха не нажил, значит плохо жил... Много им дадено, а народ самый вредный... И богач на одной ж... сидит, а такой гордый, словно две под им...

— Глядел, глядел на то дело Господь, а потом как плюнет — дерьмо, говорит, вышло. Вот на том на господнем плевке Петербург-то и строили. Хоть и важный город, а все на плевке.

— Что я здесь книжку одну прочитал, про любовь.. Страпно мне как-то, и не верится. Разве что господа... Оно рассудить, верно, что самое главное, для себя что лучше найти. Только в жизнь не поверю, чтобы и хлеба, и квартиры для любви не пожалеть... И у нас любовь трудная, да все больше по душам прячется... А живут по-людски...

— Это еще цветики. У нас, оказывали, господин чего придумал с перебытку разного. На бабу, только на роженицу был готов. Как где бабе родить, туда идет, и после младенчика, сейчас с ей спать, ровно пес кромешный. Почти что все помирали. Бабка моя отца принесла, а сама под тем бесом скончалась. Убили его. Да я вон внук, а забыть того не забуду, сколь смогу—вспомню...

— Эх, да кому нас и любить, больно наружу мы неприглядны. Господ от пищи отбивает мужиковская осанка. Кто и не взглянет, а кто и глядит, так не видит. Кому охота...

Перед барином вертеться
Чистая работа,
Свою милую под барина
Денщику забота.

Денщику коло плиты,
Воину траншея,
Зато воину Егорий,
Денщику по шее.

Кабы был я вестовым,
Жрал бы я, да лопал,
Да из бариновых ручек
Рюмашечку хлопал.

А то гордый я солдат,
В денщики налажу.
Я в окопу закопался
Да со страху . . . .

Хоть . . . . я под себя,
Я царев вояка,
А денщик то при барине—
Ровно бы собака.

— Снится мне, женат будто я на барышне-белоручке. И любить, будто, ее не люблю, не за что мужику барышней любоваться. А уж занятно, страсть. Так занятно, что и бить-то ее неколи. А есть за что бить то: боится, и ни до чего руки не лежат. За то нежна, ровно цветик.

— Я ему всякую небыль вру, а он, „ах, да ах". Сказал я, что мы, будто своих баб перед родами нагишем в реку гоняем, чтобы воды ихние водяной заговорил, так и то поверил, красиво, мол. Да ахать. А того с перепуги не слотошит, какая это баба на такое дело без скандалу пойдет. А еще ученый.

— Правда, хороши сказки. Все мы под те сказки над травой подымались, да до возрасту доходили. И песни те играем посейчас.

— Вот я каких ученых уважаю, хоть бы и за слабость его. Ни тебе слова собачьего, ни тебе дела звериного, ни тебе соку твоего, ни за золото не погонит. Сам-то я коло работы больше, за темнотой своей.

— Ну, тоже, головой избы не построить, тут будто и руки умны. . .

———

— Забавы да гусельки, песенки да беседушки, пьют, едят, блудят с утра до утра. А спроси, чем живы. Нету для них звезды-факела впереди. Только и радости, друг перед дружкой манежиться, кто на сколько целковых за день... и...

———

— Думал я долго надо всеми делами людскими. Особливо, почему я нищ и убог, а у другого брюхо по колени. Годы целые думал, слушал умных людей и ученых спрашивал. И одно решил: все мы равны на свете сем. Чего у него много—того у меня мало. Одно на одно и выходит. Вот, пока смешно мне, а как в сурьез пойму, на ладошки и поналлюю...

———

— Убогих народ со старины жалеть выучен. Не дальше — отца-матери крепостные были. Так тогда, по вотчинам-то, у зверей господ, убогих ровно на фабрике выделывали. Тетка моя купалась, девкой лет тринадцати, так ее баринок на пруде запопал, да и велел под водой подержать до паморока, чтобы воды барской не мутила. Кликушей и стала, как откачали.

———

Уж какой у нас начальник,
Просто Богу кланяться,
Как ни пальчиком не тронет,
Ни дурнем ругается.
Он нам пищу всю проверит,
Об одеже справится.
Он солдату просто верит
И чином не хвалится...

———

— Кабы моя воля—сейчас бы я всех, кто побарственнее, скрутил, все бы ихнее поприпрятал до поры, и выпустил бы их, таких-то на всю судьбу. Учись-ка сам на себя жить, свое строить, без нашей подмоги. А потом, как они обтерпятся, я бы им добро ихнее вернул. На что оно мне, только будь ты человеком как след, а не только что руки холить.

———

— Уж так то за собой глядишь, чего бы плохого не допустить. Весь в труде, сутки круглые. Грязь на тебе по горло, по-

чистить некогда. А и то себя в главном смотришь. А они в роскоши по уши, дела никакого, а всей-то чистоты,—только что под ногтями. Сами же хуже свиньи во всякой подлости барахтаются.

— А завидно мне, ей богу, хоть бы во сне так-то побаловать. Комнат у тебя пять, али боле, во всех комнатах мягкота и лепота, пока по всей-то нежности переваливаться,—бока отлежишь. А уж еда, а уж питье, а уж барышни. Одно только —книги ни к чему.

Надо мной чего ругаться,
Я царев, без голоса,
А ты дай домой добраться,
Не отдам ни волоса.

Сиди, чисти голенище,
Да кури до неба,
Ты на . . . . сядешь нищий,
Как не дам я хлеба.

А ни хлеба, а ни льну,
Никакой скотинки,
Пропадай ты, баринок,
Хуже сиротинки.

Мужик силу свою знает,
Дома работище,
На войне он славный воин,
На деревне чище.

— Посмотрел я, как господа чудесно живут. На чугунке им, что в раю. Диван мягкий, и постелю дают. Ноги вытянул — каждый генерал. Чистота, светло завсегда, и никто псом лютым на человека не брешет...

— А я бы не смог так жить. Деть мне себя некуда. У них жизнь тесная. Вон у меня, все за душею остается, а наружу, только что плюнуть... да слово крепкое пустить охота. А у них все наружу, а душа гнилая. Не по плечу они мне...

— Стал я ему корзину перебирать, и чего-чего только там не было. И все почитай пустячки, только место берет. Ну, особенно смешной там был ларчик кожаный, полон дряни всякой. Дряни в том ларце на целый бабий полк хватило бы, и вся та дрянь для двух его белых ручек геройских поналожена была.

Вы военные студенты,
Вы каки интеллигенты...
Он не в книжку читает,
Он к сестрице все идет.
Ничему он нас не учит,
Коло барышень канючит,
Не работу работает,
Поварское уплетает...

— Представлял он очень хорошо, и казался умней прочих простых людей. А когда до дела дойдет, ни с места. Все расскажет, все придумает, и песню, и сказку хорошо складывать мог. А жил только чужим горбом. Такой, может, где в городу и приспособился бы. Там и лень, что рабочий день. А деревня, она тебя за руки держит. Коли рук-то нет, не прокормишься...

— Смешно мне, братцы, как господа нас понимают. Коли он к тебе не с обидой, так словно к дитяти малому, только что гулюшки не гулюкает, аж тошно станет.

У меня-то офицер —
Словно бы картина,
Что сапожки, что китель,
Разлюли-малина.

Он домой письмо как пишет,
Сам с собою говорит,
На бумагу буквы нижет,
Песьим словом не бранит.

Как письмо-то мой получит,
Ровно булка смякнет,
Сапоги с ногами стянешь,
Так не пнет, а крякнет.

Мому милая писала,
Про любовь про сйпую,
На нем морда така стала,
Словно бы елейная.

Мого хлебом не корми,
А письмишко подавай,
Станет светлый, словно образ,
Хоть на стену набивай.

— Нам хорошего-то окрут не надобно. Тесно от добра. Это только господа без штучек разных не живы, ровно от штучек душу берут. А нам—ни ляг, ни встань, того и гляди попортишь. Нам всякое-то добро только свет застит, да связку делает.

— Сколько в человеке божьего, столько и рожьего. Вокруг себя на избытке красоты разные разводить, неимущему на показ,—тут не без рогов.

— Удивительно мне, когда это учиться поспевают, коли на окрут себя времени нет. От тяжкого труда отвалишься, да в сон головой. До того в труде, до того смаяный, сдается—помереть, так и то времени не будет.

— Не у всех одна жизнь. Есть, что и сладко едят, и мягонько спят, и всего, чего не захочешь имеют. Исподнее, так и то на него лакей надевает. Такой-то всю жизнь свою с бабы на книжку перелезает, вся ему и работа. Тут уж не учиться, так срам.

— Сдается мне, потому простой народ глуп, что думать ему некогда. Кабы был час подумать хорошенько, все-бы он понял, не хуже господ. А душа в простом светлая, и кровь в ём свежая. Пожалуй, что и лучше господ все-бы раз'яснил, кабы часочек нашелся...

— Что ему не скажи, он все тебе в морду... За „точно так", и то в зубы... Ну, сил моих не стало, а пожалиться нельзя, не принимают жалоб на господ офицеров... А какой он господин?.. У свиньи под хвостом, вот где ему господствовать. Был на заводе, при конторе писарем, и сам себе все справлял. А теперь

до человека добрался, и не то что полковник, а и генерал, так драться не станет.

— У меня нога вся в чирьях, горит огнем, а он говорит „симулянт“... Какой я симулянт, смерти прошу... Где мне окопы копать, портянка чистая,—что гиря пудовая. А песок попадет, что в пекле, муки такие...

— Велит что нощно ему баб водить. Баба плачет, не до того ей... Ни избы, ни хлеба,—земля да небо... А тут офицеру пузо грей... Да еще напьется, всю срамоту на людях старается производить... Смотрите мол, как я до бабы здоров... Вот уж—здоров, как боров, а и глуп, что пуп...

— Думаю, об'явить, аль нет?.. Хочется об'явить, больно не по закону говорит. Не то, что начальство хает, а просто до царя добирался... И хорошо об'явить-то было-бы, ротный трешню дать должен, да и кто пониже, уважать бы стали. А кто пониже, тот до нас поближе... А не об'явил... Листков я не брал противу присяги, зато слушал я, до греха... Горазд рассказывать был... И спроси, чего зажалел, сказать не могу, а не об'явил вот...

— А наш ротный, как забег, за куст сел... а так браво кричит —«за мной, братцы!» А куда за им, коли у него от команды... И что это, видно Господь-то не за войну. Вот ведь и храбер, и рад-бы, а как в атаку итти, так в кусты...

— Сколько это милиен, не могу умом понять. А коли за рупь, у взводного совесть купить можно, так уж за милиен-то, много чай душ, соблазнить легко... Силища.

— Сижу я тихо, а он, вижу все до меня добирается, кого спросит, а все мне кричит, «ты с... с... слушай, да на ус мотай, а то я в зубы тебе всю словесность кулаком всажу»... С этого его слова, душа у меня обомлеет, и ум за разум зайдет. Как до меня дойдет дело, не то что по науке чего, а и имя-то свое крестное забуду, бывало...

— Я этого нё смог перетерпеть, что я мальчишка что-ли, чтобы меня бить. Пришел и доложил, а заместо правды, меня

в карцер, да опять бить. А вернулся, так издевались... Просто до чего плохо жилось... Здесь же я все прощаю, все вместе мучимся...

———

— Теперь опять же начальство. Ну пущай, не без худа оно до тебя. А все польза от начальства немалая. Вот, он тебя, вперед всего приемам там ружейным, да грамоте, обучит. Оно верно, что нам без войны, на ружье наплевать... А за то, грамота после войны, первое дело будет. А еще, кем мы обуты-одеты, да сыты. Начальством. А что на наши же, на кровные, жрем, так то не всякий разумеет. Я, вон первый, не добрал того толком-то. У нас начальство отнять, что двери с петель снять. Не сдержим, да на непогодь и выскочим. Так тише.

———

— У нас офицер, ни тебе учен, ни тебе умен, а словно индюк выхаживает. За то до дела—ни пальчиком. Ждем, как его бой испытает. А думать надо—не быть клушке соколом...

———

— Расскажи, говорит, где ты ее достал. Так и так, мол, говорю, шли селом, она и пристала. „На вот десятку: моя"! Где уж перечить... Отдать отдал, а тосковал по ней, ровно по невесте...

———

— Начальство, и большее и меньшее в карты дулось. А мы болты болтали. И очень я без грозного призору да без окрику понаторел и поумнел тогда.

———

— Нет мне на войне житья. И страшусь-то я, и каюсь то я. И все-то мне грехом выходит. Коли не покорюсь—грех, а покорюсь,—так уж таких грехов наприказывают, хоть и не помирай после.

———

— Истинная правда, товарищ, что терпеть скоро нельзя станет. Теперь тебя «эй» кличут, а скоро по собачьему на свист итти прикажут. Дал я себе зарок—до малого сроку дотерпеть. А не будет перемены, начну, братцы, по умному бунтовать. Есть у меня человечек один, обучит.

———

— Весной к взводному женка пробралась. Гладкая баба, и ласку любит. А взводный у нас, ровно ерш, весь в перье. К ней

все офицерики похаживали. Он и заскучал. Спориться-то не с кем: начальство. Оно на глазах у тебя с твоей же женой спать станет, а ты только молчи да облизывайся... За то нашему брату перепало... За кажного за прапора отстрадали. Бога молили, той бабе убраться; только тогда он и стух малость.

— Мой подвиг такой. Лежали под самыми их ними заграждениями, и вылезти не могли четвертые сутки. А лежали ровно гады, сухого места нет. К этому не притерпишься. А поручик * на проволоке завяз, как в атаку шел. Сперва просил словами, по именам выкликал... Носа не высунуть, стреляют... А потом только стонал да вздыхал... Это так четверо-то суток, и все жив... Вот грех на Бога роптать, а скажешь тут: для ча душу крепко держать, коли беречь-то ее не велено... Я не вытерпел, снял его. А донести не осилил, ранили. Тут атака, взяли свои...

— Отличать тебя было невозможно. Кабы каждого отличать, так отличающих целую армию держать надо. А оно не по карману...

— Ваша работа, говорит, не видная, как у солдата, не такая наградная, да за то святая. А храбрости сколько угодно показать можно. И Георгия нам пожелал... А этот больше, где графини, да баронессы... Он уж перед ними и так и сяк, а настоящих-то людей и не видит. Одно слово,—фанфарон.

— Купил я тут швейную машину за накулак погляденье, да за ту же цену взводному уступил. А теперь на той на машинке командирова жена строчит.

— Слышу я, звякнуло под ногой; я шарить, кошель нашарил. Так чего-то я испугался—сердце стучит. Я к свету, а там золотые, и не сосчитать сразу, ну за сто, да и только. Так вспотел я даже, и ничего не придумаю. И схоронить страшно, и выпустить жаль, а чьи не знаю. Да не долго тех моих мук было. Надошел взводный, дал в ухо на всю сумму и забрал.

— Мы без офицера, что без головы... Да беда, коль голова худа. Что хуже... У нас добрый был, и не винен, а в морду бил... Правду сказать, не барствуй. Я и ем и сплю по ночам, а он,

болезный, в земле одиннадцать суток... сапоги приросли... Как пришел, я ему сымать стал, чуть не с кожей... Ну не без того, что-бы сапогом в зубы не в'ехал... Да и то сказать, хучь-бы мне довелось, избил-бы стервеца...

— После того, как будто, лучше стало, добреть почал и больше-то не бил. Да только толку с того мало, трех зубов нету, барабан в ухе пробился, не слышно, почитай, ничего. В голове гудит да болит круглые сутки...

— Здесь опять эти зауряды самые... Обида и мне и всему воинству. Свинаря замест царя.

— А носить-то чуть не пять верст, грязь густая, рытвины, из калюжи в калюжину. Чисто всю дорогу кувырком идешь. А тут расплескать ни-ни, да еще что бы горячее все, с пару. Ныряю, бывало, свои-то версты, а в думке одно сейчас иссинячит.

— Стали тот камень сдвигать, просто пальца не подсунуть. Ну, кой-как осилили, а под камнем могила, в могиле вещи всякие и человек, видом воин. Вот ведь, мертв, тысячу лет лежит, одни кости и геройское снаряжение,—а грозен так—подойти боишься. А теперешний-то герой на себя что хошь нацепит, мяса нажрет пуды и морды бьет, а перед тем схороненым, словно вша перед соколом.

Во пехотном я полку,
Ровно снопик на току.
Коли немец не колотит,
Взводный шкуру мне молотит,
Подо мною ножки гнутся,
Все поджилочки трясутся...

— Сунул мне в зубы трубу, аж кровь пошла,—дуй,—говорит. Эдак три недели мучал. Есть я перестал. Стал у меня рот, ровно луженый. Кровью стал плевать. Все по зубам тычет, как ошибусь. Под эдакую музыку, не запляшешь...

— Того не скажи, того не сделай, все не так, все не по нем... Я у него раб без души... Он со мной хуже Господа Бога поступить может...

— Он те околдует... Больно готов наш брат... Изобижены, унижены, хуже зверья живем... Все ждем, кто научит, вот и слушаем... Эх, кабы они муки не принимали, больше-б им верили, а то за ним не идешь, боишься... За то об'явить, —ни Боже сохрани...

— Отец-ли мне командир, того и шопотом не скажешь... Отечеству-ли они сыны верные, того и во сне подумать не смей... А уж для ча они себя учили, да на нашем горбу барствовали, того и на смертном одре не признаешься...

— Уж как зажило, был в Киеве, на Печерске. Позвали испытывать, не разгинается рука. Говорят—симулянт, притворяюсь будто. Стали два доктора разгинать. *** да еще какой-то, немецкая кличка. Тянули, тянули, да так разогнули, что кость наружу... При всех... А потом забинтовали, и говорят,—на одну атаку и такого хватит...

— От той дисциплины больше всего устал я. Хоть бы порядок какой, а то ничего не понять. Одни слова пустые, да жилам тягота. Чести этой одной столько отдашь, самому-то ничего от ней не останется. Разве ж я тут человек?.. Весь чужой....

— Я бы сам каку войну выдумал, для справедливости. Чтобы на год муку принять и другим грозы наделать. Да чтоб потом на белом свете всем хорошо жилось. Коль и загубила-б нас та война, так детям да внукам, может, вольготнее зажилось бы. Хоть и не след присяжному признаваться, а сказать скажу—знаю супротив кого война надобна...

— Любил я деньги и добро всякое прежде. Все, не то что свое считал, а хорошо и папашино знал, и наследства ожидал с мечтанием. Одежду на войну дали, все аккуратненько справил, берет и сапоги, и мелочь разную. А попал я сюда, да продырявился на первый месяц,—и отпал я от вещей, раз и на-

всегда, словно, с войной-то никому вещи не по росту. Выросли мы больно, душа, так и той не хватает...

— Мы ужли не научены, а вот те, что из плена вернутся, те и нас многому учить будут... Из каждой овцы,—вышли мудрецы... На каждой на дубине,—ягода-малина...

— Выравняет нам немец дорожки, не будет нам ни рвов, ни буераков. Грязь, так и ту вымоет. Только, что народу до того времени сгинет, и какой-такой человек по тем путям ходить станет,—не придумаю...

— Время пришло не об складности какой, да не об устройстве думать. Нету силы, мочи человечей, чтобы ту беду-войну истребить. Нету той беде-войне конца краю. Так уж тут ли думки думать про хозяйство свое да про удобное житье какое. Душу обдумай, на том свете только на ней все и держится. А уж на этом-то, нашей жизни не быть свету—радости...

— Не терял я время, все для миру старался, работал, собирал, копил, Бога молил... Думал я, не навеки та война. А вот, как перевидал мертвяков тысячи, и потерял я надежду... Не вернуть нам прежнего, и не для ча стараться и собирать... хоть скрозь землю все провались... Опомнятся человеки, да поздно будет, ни пня не останется...

— Что об этом говорить, разве нашего брата спрашивают. Я дома учился, каждый день к Николаю Ивановичу ходил отдельно. Очень меня за способности любил, ко всему я был способный. Починять часы, и то сумел сразу. Все понимал, и то понял, что на войне не такие теперь люди нужны... Вот и я в пехоте, что пес на охоте. На своре сижу, ничего не вижу...

— Не тоскуй парень, нечего томиться, сколько твоей судьбы уйдет—самые пустяки... Молод больно. Весь мир война рушит, так одна-то душенька, ровно горошинка в мешке, не ворохнувшись до места доедет. Только жизнь сбереги...

— Я такой глупый был, что спать ложился, а руки на груди крестом складывал... На случай, что во сне преставлюсь...

А теперь, ни Бога, ни черта не боюсь... Как всадил с рукою штык в брюхо, словно сняло с меня что-то...

— Все наново переучиваю. Сказал Господь Сын Божий: „не убий“; значит—бей, не жалей... Люби, мол, ближнего, как самого себя; значит—тяни у него корку последнюю... А не даст добром—руби топором... Сказано: словом нечистым не погань рта, а тут пой про матушку родную песни похабные, на душе от того веселее, мол... Одно слово, расти себе зубы волчьи, а коли поздно, не вырастут,—так на вот тебе штык, да пушку, вгрызайся ближнему под ребры... А чтобы стал я воин, как картина,—так еще и плетями вспрыснут спину...

— Я уж домой не хочу вернуться, чего я там не видал. Здесь землю куплю, и с жителями буду хорошо обращаться, чтобы кровь забыли. Нашей-то крови тоже не мало пролито... Земля от крови парная, хорошо родить будет... Войну люди скоро забудут...

— Все понимаем, ничего не забудем, научены, что показать вернувшись, дайте только войну кончить... А как?... Что ты мне все «как да как», на каке, что на коняке... Хвост трубой, а сам глупой...

— Запиши ты твердо слово: наша жизнь такая теперь, что век ее помнить надо. А то и не живи потом, на тот свет уйди... Коли мы эту нашу жизнь, теперяшнюю проспим, так, значит, нас и трубе при страшном при суде не разбудить будет. Не только, что помнить, а и век по новой по науке жить надо до смерти...

5 567


B000000003609050